

* 13.12.1930.

Никогда еще не были у меня такими непослушными карандаш и бумага.

Три раза я уже порвал все написанное. Не потому, что мудрствую, не хочу говорить искренне, просто потому, что как-то как надо не говорится вся славнота, которую хочется раскрыть тебе.

И вместо того, чтобы просто сказать, что я уже целых 26 часов не видел тебя, я пишу о том, что здесь чудный мостик, что сегодня я проехал 18 верст на конях, в санях — оврагами, пролесками, через речки, озера, и когда замерз, постучал в двери, и чуть не обомлел — ты!

Тишина... Такая тишина... Это взамен бури, в которую я хочу.

Ты говоришь, что у меня много женственного? Может, и правда. Может, потому, что лучшими моими друзьями были женщины. (...)

Но как жалко, что не видела ты сегодняшнего утра! Не ощущала холодного ветра в лицо! И не спеша бредут лошади, а я сижу тихонечко... Думаю все, думаю... вижу (...) твоё лицо... библиотечную твою руку.

И недосказанного много, много... И каждый день увеличивается оно.

А может, а если бы.

И что это все такое? Что ты для меня? Надо выяснить. Солнце? Сумрак? Радость? Печаль?

Я тебе еще напишу. Сегодня. Завтра. Каждый день.

Не удивляйся только. Все будет ясным. А так, как теперь, еще никогда у меня не было.

(Подпись)

* 1931. (Без точной даты. — *Т. К.*)

(...) За такие грозы, что берут человека всего — без остатка. За грозы, из которых человек выходит истомленным, но победителем.

И все же я мало понимаю. Твой внутренний мир остается, говоря по-старому, каким-то заколдованным кругом. И от этого незнания мне иногда кажется, что где-то глубоко мы с тобою враги. И кажется еще, что эта враждебность лежит в основе всего и манит неотступно, сильно. Несвязностью этой и объясняется та жизнь, которую веду я в Минске.

Это не выход. Ты зови меня на помощь, когда я есть. И чаще зови. Ты хочешь тишины и не знаешь, чего хочешь. (...) ...Метель — твои слова. Тебе надо шторм. Может, на один день, но крепкий, холодный, соленый. А больше всего тебе надо — дом, знаешь, такой звонкий, сосновый, на стенах которого еще проступают капельки смолы.

Надо тебе утренние туманы над озером да роса — босыми ногами по ней. Лес. Я спасался так. Я знаю такой дом, и озеро, и лес. За двадцать верст от железной дороги, за три версты от деревни. Я загоню тебя в этот дом, чтобы закончились тупики. Они также жизнь — тупики, — но не надо их.

Стыдно просто. Когда так много жизни и работы в ней.

Ты много пишешь? Я хотел бы посмотреть. Хорошо?

Только во сне увидеть радость? А приобрести ее, живую, мохнатую? Все это в твоих руках. Мое плечо всегда радо, когда рядом — твоё.

Теперь — давай истомленную свою лапу, поцелую.

Мы скоро выезжаем.

Привет от Анатолия.

Наш альянс — неплохая вещь. Приедем с реальными результатами — работаем.

Пока я конструировал конверт, он предложил мне поставить на место герб.

— Какой?

— Сердце, пронзенное стрелой.



Максим Лужанин

* 15.05.1932.

Год, кажется, не видел, не писал тебе. Два часа, а я только пришел из твоих мест, в (...).

Приехали в двенадцатом. А вчера от усталости сразу упал на кровать. 300 километров, хоть и на хорошей машине, тяжело проехать. Позавчера Досовичи, вчера Пропойск, сегодня Быхов.

И не спится, и снится глупое, и зайцы бегут на дорогу на огонь, прыгают — глупые — перед колесами. А машина берет свои семьдесят километров. Везет меня то ближе, то дальше от тебя. А когда успокаиваются мои попутчики, я ощущаю тебя со мною, там, где обосновалась ты перед выездом. Маленькая такая.

Начальство мое славное. Только Товарищ. Пошлый маленький человечек. Циничная скотинка. Маленькая. Глядя на него, не хочется быть писателем.

Когда летит в лицо солнце и воздух, разрывается вокруг зеленое полотно — отступает с обеих сторон лес вдоль шоссе, — появляется странное ощущение жизни, ощущение Скорости.

Странно и хорошо.

И жалко, что не ощущаешь этого ты.

Писать есть много о чем. Я не видел давно деревни. И теперь самый интересный и ответственный момент. Поле должно быть засеяно. Колхоз должен существовать. Кое-где слышны выстрелы. Горят костры у дорог. У большевиков новая война, новый фронт. Большевики должны выиграть. И вот теперь крепче я приобщаюсь, ощущаю себя неотрывной частицей этой крепкой армии. Я говорил тебе неоднократно, что счастлив тем, что живу в это время. Такой остроты никто не видел до сих пор и не увидят потомки, для которых идет эта война, для которых мы строим мир.

Рано засыпает город. Все спит. И ты спишь, боишься, тревожишься. А я сегодня видел море. Километров двести воды на лугах под Быховом. Широко Днепр. Красив Днепр. И вода даже (...) чуть. А при дороге белая, белая цветет черемуха. Стоит, думает. Смотрится в воду.

И думаю я. Мысли к тебе, о тебе. И где-то связываются мысли наши. И чем-то другим наполняется жизнь.

Завтра увидимся. А потом снова километры. Опять небо, опять солнце. Такое солнце будет с нами. Крепнуть. Возрастать.

Разбросано мое письмо. Пожалуй, потому, что мыслей много. Приеду, все отдам тебе.

Что тебе солнце, крепость

Обветренных рук.

(Подпись)

* 16.05.1932.

Маленькая, хрупкая моя Девчушка! Женик!

Послал тебе весточку вчера, а разве сегодня худший день, разве сегодня не хочется поговорить, прислонить, позвать маленькую свою близко-близко. (...)

Хочется что-то сказать, раскрыть себя. (...)

На Витебском бульварчике горят клены, внизу с величавым достоинством идет Двина, а я думаю, где буду завтра? И, не раздумывая, отвечаю: с тобою. Да. С тобою. Как вчера и сегодня. Как каждый день. (...)

Я хочу тебе спокойной ночи и яркого — солнце в глаза — утра.

(Подпись)

* 24.09.1932. Шумилино.

Оно не скоро закончилось сегодня, это непобедимое желание говорить с тобой...

...Я между землей и небом. На третьей полке вагона горит свечка, на нижней спят мои товарищи, а на второй сижу я... Мне только что постлали постель, хорошую, чистую.

Ночь смывает с мыслей и с самого досадный налет будничного. И я иду к тебе просто, как ребенок, чистый, как тогда, когда первый раз побежал по твоим следам, когда начиналась зима, когда я забрел в библиотеку.

Здесь надо слово. Слово, которое обозначает все идущее через века, с давних времен, это слово я не могу сказать. Я знаю, что (...) у меня оно новое, большое, как все, что живет к тебе и что ночь помогает сказать это.

Оно родилось в твоём маленьком имени, когда-то жаждущего солнца цветка, еще там, где летят много солнца. (...)

Мы пойдем рука об руку по осенней солнечной земле, гордые собой, ясные... Той ясностью ясные, как тогда, когда твои руки обвили меня в эту же осень, а губы просто сказали мое имя.

Неожиданно это было в тот пьяный вечер, неожиданно, ведь мечталось о такой крайней близости каждый день, каждый час.

Я стремился узнать тебя. Если бы я знал тебя, я знал бы, почему это случилось.

Помню вечер до мельчайших подробностей.

Это дорогой, украденный от людей момент, совсем детский, как у учеников украденный момент. Украденный у людей, чтобы не украли у меня.

У меня нельзя ничего украсть.

И отчего у людей есть нужда этой кражи? Интереснее жить — скажешь ты? Интересно всем, кроме обворованных. Украли, значит, достойны они этого.

Не жалею, как и не верю в то, что человек может не заметить пропажи.

Прости мне, что завтра я пошлю тебе это, не прочитав. Завтра я буду знать, когда буду с тобою. Правда, я с тобою и не разлучался. Правда?

(Подпись)



Евгения Пфляумбаум

* 25.09.1932.

Это время называется ночь. Часы опять показывают половину одиннадцатого. А могу я здесь уснуть, не побыв с маленькою моею хотя бы одну-единственную минутку? И, вопреки ночи и расстоянию, я беру эту минуту. Днем в людской суете, как всегда, не могу я успокоиться, все жду, когда окажусь наедине. И это удается только в половине одиннадцатого.

Где ты, что ты, моя родненькая? Простираешь руки ко мне.

— Здесь, — говоришь тихонечко.

Это неправда, что меня чуралось слово. Я знаю, я ощущаю его звон и ощущаю силу (...).

Открою тебе (...) и принесу на ладони. Отдам тебе и всех людей, и все страны, что живут во мне. Крепких и хрупких, пыльных и холодных, всех их услышишь ты. Может, тогда оправдается жизнь. Когда человек ухватит столько — он будет жить.

Творить жизнь и давать жизнь — это предназначение человека. И вместе, и порознь это дает полноту.

(...) А какая досадная вещь вранье! Главное, это честность мысли, слова. Когда мысль может рассказаться вся в словах (...).

Только, наверное, не то я пишу тебе, маленькая. Это придет с новым человеком. Теперь нам надо много мыть и надевать республику, веками загрязненную страну. Я буду счастлив, если потомки вспомнят, что один метр республики очистил я. Самого себя очистил, сделал ясным путь, вывел на него себя. Если осилю сделать большее — мое, а не осилю — буду счастлив тем, что не имею пятен.

Не хочу сегодня ложиться...

(Подпись)

Телеграмма из Витебска

Задержали девятнадцатого.

С тобою... (рукой Лужанина дописано: через три дня арест. — Т. К.)

* 15.10.1933.

Хочется думать, что ты получила все мои открытки, а послал я не меньше десятка. За четырнадцать дней мы доехали до Новосибирска. Когда-нибудь все расскажется дорожное и о первых днях пребывания здесь. Пока что я здесь жду, что куда-нибудь пошлют дальше, ведь это пункт пересыльный. Доехал я совсем здоровым и бодрым, здесь тоже ощущаю себя неплохо.

В последней открытке просил тебя прислать заказным союзный билет и справку, что я не лишен права голоса. Но это пришлешь тогда, когда я сообщу свой постоянный адрес. Чтобы во время переездов они не потерялись. Думаю, они нужны будут для того, чтобы скорей добыть свой срок.

Здесь живетсЯ ничего. Город большой и интересный, строится, растет. Живем мы километра два за городом. Говорят, началась паспортизация. Жить здесь не тяжело и не дорого (...). Если бы знать, что здесь задержусь на все время, можно было бы тебе изменить местожительство, но чувствую — я знаю (...). А дорога большая, трудности, и на месте обустроиться легко ли будет тебе одной, маленькой моей. Тревожит твое здоровье, условия жизни, паспорт. Если ты получила паспорт, поработай немного в Минске, а если тяжело, неприятно там, езжай в Москву или куда посчитаешь возможным, удобным для себя. Если ты не имеешь этого документа, выясни места, где ты сможешь жить, и выбери, где теплее и удобнее. Все равно все надо начинать сначала, с новыми людьми, с новой работой, с нового места, и тебе, и мне. Тяжело одно, что переезды, обустройства эти тебя, родную, сильно изведут, отберут много здоровья. Его тебе и так недостает. Если бы это можно было мне отдать тебе силы, упорство и полноту свою в неразделимо светлом будущем, радостно-бесконечном нашем.

Прости мне письмо это. Глупое оно, без нужного слова тебе, но через рассуждения про нашу жизненную прозу услышишь ты тревогу мою о тебе — жизни — ты все, чем живу, о чем мои мысли и каждое движение.

Разве эта разлука, это расстояние могут что-то значить. Они бессильны, им не добраться до нас, до тебя, яркого южного цветка, который (...), светит в морозной дали, ведет, держит меня.

Образ твой, последние слова — все в глазах — передо мною. И увез поезд меня от тонкой наклоненной фигуры под огнями минского вокзала на столько тысяч километров! И она со мною!

И я помню ее слова и веру, что не потерял я в нее. Она же обманывать не может. Она скажет, когда дали и расстояния отзовут и человека. Так?

А если... нет, я не знаю «если».

Родная, родной!

Бери же побольше солнца, берегись. Ведь и издалека моя рука возле тебя, всегда, когда нужна тебе. Лишь бы только нужна была!

Здоровья ж тебе!

Приветствую всех. Алесь.

P. S. (...)

Еще одна просьба: подбери все документы мои до мелочей, армейский билет (...), удостоверения и припрядь. Если сумеешь, возьми из техникума аттестат и из Университета удостоверение об окончании двух курсов. Техникум я окончил в 1928 г., Университет был с 28 по 30 гг. (начало).

Пусть это будет у тебя.

Открытку шли мне: г. Новосибирск, стройгородок Сиблага... Адрес этот не постоянный, но я хочу иметь весточки.

* 21—22.10.1933.

(Письмо читается частично, вырвано посредине. — *Т. К.*)

Ой на горцы сныжок трусе,
А пад горкай ручэй цячэ.
Там казака каня пасе...

Наверное, знаешь эту славную нашу песню...

Бормотал ее всю дорогу, и сегодня днем она припомнилась. Как раз стоял под горкою перед крутым оврагом, и беленький кружился снежок. Два дня пробует обосноваться звонкий ядерный морозец. Для наших мест это много — -10 градусов, а здесь даже не мерзнут уши. (...) Утром пойду в город и буду иметь возможность отослать тебе лист (...).

(...) Может, завтра и закреплюсь. Если это будет так — значит, мы уже сумеем быть вместе, а пока что ночь впереди — поговорим, родная!

Спит железная дорога... Народ спит, успокоившись после «трудов дневных»... Часов около двенадцати. Я уже немного поспал с вечера, а теперь пользуюсь тишиной, светом и покоем. Живется здесь неплохо, работается не тяжело, не голодаю и (...), пока установится, туговато с жильем, но я полагаю, что это все условия пересяльные, так что, значит, будут перемены в лучшую сторону. Зимы, говорят, с большими морозами, но переносятся легко, в чем я уже имел возможность убедиться.

Вообще, все выглядит издали куда страшнее, чем это бывает на самом деле. Так вот и с Сибирью, и с далью (...). Наверно, мне помогает бодрость и вера в лучшее, но, во всяком случае, я не преувеличиваю. С запасом жизненной энергии люди не гибнут, если не опускаются, а я на диво здоров и к слету вниз себя никогда не допущу, независимо от условий. Всегда же со мною твой образ, бесконечно родной, и бодрит, и поднимает, и держит. Я хочу жить, и значит, буду жить, всегда оберегая тебя и от тревоги, и от злых жизненных ветров. Не могу же я винить республику в том, что она не поверила моей работе и (...). Много трудностей было в эти месяцы, очень переживаю, что посыпались они на твои плечи, но это жизнь, а в жизни бывает все — тяжелую жизненную школу должны пройти все. Так бы к старости остался мальчуганом, сидя в Минске, а теперь — какая полнота жизненной практики! Я не умею задерживаться на частном, может, и теперь смотрю слишком широко, может это письмо застать тебя в очень тяжелом положении, но я верю, что мы и сейчас сойдемся мыслями, как всегда в основном, в самом большом, из чего складывается наша жизнь... Переживем трудное. Только себя, себя береги, родная, а все другое уже мое дело. Стать во весь рост, говорить в полный голос, работать для республики во всю силу и руки. И тебе будет спокойно и радостно...

Ночь. Перекликаются поезда. Скоро они перекликнутся перед семафорами нашего будущего. Давай руки, родная! Хватит силы на всю дорогу нашу. Слышишь? Веришь?

Хорошо рассмотрел город. Он большой. Много новостроек. Есть кварталы исключительной архитектуры. Интересное построение театра — типа комбинированных зрелищ — цирк, театр, кино (...).

Опять вопрос о твоём паспорте. Если бы знал, что он есть у тебя, — был бы спокоен. И работа? Неужели до этого времени ты не работаешь? Если бы здесь не проводилась паспортизация, можно было ехать сюда — рабочих рук требуется здесь очень много и в заведениях: в школах, видел несколько редакций. Тяжело только с

квартирами. С паспортом можно ехать, а без него? Что если и здесь нельзя будет его получить? Надо точно выяснить местности — где тебе можно жить. Во всяком случае, и с документами, и без них до весны мне не хотелось бы трогать тебя с места. Надо чтобы ты отдохнула немного, ведь дорога сюда и большая, и тяжелая, и одной тебе, хрупкой (...). Может, ты переехала бы в Москву, или, если сможешь добиться денег за перевод, а я не допускаю мысли, что твоя работа пройдет впустую, — больше всего хотел бы, чтобы провела ты месяц на юге. Тебе же так нужны и вода, и солнце. Неужели это пока не доступно? Это будет первое, что я сделаю, — юг тебе. (...)

Хорошей ночи тебе, моя маленькая! Усни, девочка! Дай руку, глаза свои!

(Подпись)

* 26.10.1933.

Пишу не медля, не отрываясь от твоего листа, чтобы застать тебя еще в Новосибирске, чтобы ты услышал меня.

Так ждала это письмо твое, ежедневно, еженощно, и сейчас вот, получив, еще руки дрожат, как у больной, а я же здоровая и сильная теперь.

Две открытки твои получила. Все это время беспокоило одно: едешь ты в холод без меня, без теплой куртки, без денег? Одно радует, что крепок ты, молод и твоя хорошая уверенность протягивает мне руки.

Паспорт у меня уже есть. Назавтра, после твоего отъезда, получила. Через вежливый отказ. Надо выезжать. Если бы ты остался в Новосибирске — я бы немедленно выехала туда. С квартирою бы утряслось. Там есть знакомые. Если тебя перешлют дальше — это не страшно, — я все равно поеду. Поэтому ты и сообщай мне свой постоянный адрес и возможности.

Так хочется знать, что ты ближе хоть на сотню километров. Разлуки для нас нет. Ты же это понимаешь. Мы сделали такими близкими, как никогда, нигде, даже в мечтах (...).

Пишу много, а слово мельчает, и все мельчает около. И это и радостно, и хочется, чтобы и оно выросло около нас. Так же, Аль, мой родненький? А мы его выходим, взрастим вместе.

От Михаила Ивановича Калинина его секретариат прислал мне письмо. Спрашивают про твой адрес и про то, кем ты осужден. На второй вопрос я ответила того же дня. На первое отвечаю сейчас.

Отчего ты не прислал заявления? Оно нужно также.

Надо, чтобы на съезд писателей в мае 1934 года ты имел мандат. Так? Эту первую цель мы себе и поставили. И мандат заслужен всей совестью твоей и беспорочными мыслями.

Радость ращу для тебя всегда. В глазах, в руках. В песню наилучшую. Все это для тебя — беспорочное и ясное (...). Этим и крепну.

Документы твои при мне. Остальные добуду. Будь спокоен и смотри себя как никогда раньше. Было бы очень хорошо, если бы тебя оставили в Новосибирске. Поздравляю тебя с близким нашим праздником Октября. Желаю все той же силы, возвращенной этим днем.

Сегодня утро первого снега. Я знала, что ты поприветствуешь его издалека. И вот твой лист. Как радостно жить, имея тебя и твою песню в нашей стране. Скоро день твоего и моего рождения. С них, этих дней, и начнем нашу жизнь сначала.

Жалко Ю. З., привет ему. Нина еще не приехала из дома. Жду ее. Может, мы с ней вместе к вам — учиться и жить и учиться жить. С. в Алма-Ате. Собирает барбарис и также не имеет еще постоянного адреса.

Борис шлет тебе привет и искренне желает наилучшей и быстрой встречи.

Все мои близкие также передают тебе приветы.

Боюсь, что уже много написала. Дошло бы только. На всякий случай с этим же листом посылаю открытку.

Будь здоровый и радостный, как в лете нашем солнце!

Женя.

09.10.1933.

Получила три твоих письма. Такие яркие, от сибирского ли снега, от бодрости твоей или от моего ожидания.

Писала тебе в четырех письмах о получении паспорта, теперь могу порадовать и тем, что, наконец, дали мне работу, в Беллите. Видимо, нашли возможным полную мою реабилитацию. Так хорошо вздохнулось впервые за время от твоего отъезда, когда я начала искать работу.

Теперь живу возможностью совсем близкой встречи. Если бы тебя оставили в Новосибирске до окончания срока, — я сейчас же выехала бы к тебе. Но каким образом узнать об этом? Напиши мне обо всем, имея в виду только одно то, что нам нужно быть вместе — так будет ярче и жизнь, и работа, и радость. Хочется в Сибирь, в холодный чистый снег, в свежесть новой нашей жизни. В прошлом ничего не жаль.

Радуюсь, что здоров ты морально (физическое состояние все же тревожит меня), что много в тебе бодрости и веры.

В одном из писем ты пишешь, что в любом случае мне лучше остаться до весны на месте. Тебя тревожит большая дорога. Ты забудь, родной, думать о том, что я слабая беспомощная женщина. Я теперь и сильная, и здоровая, и еще очень много «и».

Хлопочу о твоих документах. Некоторые из них труднодоступны. Требуют доверенности на их получение. С переводом Горького тоже дело пошло в ход. Вмешалось РКИ. Перевод будет, очевидно, просматривать специальная комиссия.

Ты вскользь пишешь о возможности частной квартиры в Новосибирске. Это было бы совсем хорошо. Мы смогли бы тогда и писать. Пишешь ли ты? Как хочется мне новых твоих ярких строчек. Мама все видит тебя во сне, а я очень редко. Почему? Мне так нужно видеть тебя.

Почему не взял ты ни куртки, ни теплых бурок? Вот теперь мерзнешь в ботиночках, и я ничем не могу помочь. Напиши, можно ли выслать тебе посылку? Только напиши так, как в действительности, а то ты напишешь, что нельзя, чтобы не причинять мне хлопот. Знаю я твой родной упрямый взгляд.

Я писала тебе из Москвы, куда вызывал меня брат с женой спасать их семейный очаг. Тяжелые дни я провела там. Думала остаться работать, но испугалась такой обстановки. На московский адрес тоже ждала письма от тебя. Теперь уже не нужно писать туда. Неужели не получил ты ни одного моего письма? А я так спешила успокоить тебя в отношении паспорта.

Уже и в Минске снег. Неустойчивый, нечистый. По Республиканской ходит трамвай. Остановка у крыльца Соколовских. Закончен Дом правительства, и в дни Октября откроют памятник Ленину перед ним. Приедешь ли ты сюда, изгнанник, не потерявший ни веры, ни бодрости. Мы приедем сюда вместе. Правда? Я так уверена, что скоро буду у тебя. Радостно думать об этом на воздухе, на снежной улице и представлять тебя, родного как никогда раньше, в больших ярких снегах Сибири. Что ты делаешь теперь? Что думаешь, пишешь? Как всегда жду твоих слов, твоего почерка на конверте. Скорее зови меня к себе.

Будь здоров и радостен!

Приветствуют тебя мама и Вл. Раф.¹

Женя.

* 6.11.1933. Минск.

Новосибирск, Стройгородок Сиблага О.Г.П.У. Александру Амвросьевичу Лужанину.

Поздравляю тебя с солнечным днем нашей страны. Жду твоего письма. Получил ли ты моих два? Успокоился ли ты, что я получила паспорт. Я писала

¹ Отчим Евгении.

тебе, что надо мне выезжать, ведь иначе без работы буду. Думаю, в Москву. Улаживаю все дела с документами: часть получила. Хуже дела с документом «право голоса». На руки не выдают. Отвечают только на запросы с места работы. Было бы хорошо, если бы ты остался в Новосибирске. Сразу бы к тебе. Куда там ждать весны — как пишешь ты. Сильная я, и уже никогда никакая дорога не утомит меня. А эта же — к тебе. Радости еще тебе, хоть малой!

Женя.

Привет тебе от всех.

12.11.1933.

Ровнее и тверже ходить мне теперь, думая о тебе. Хоть это мало, но знаю, что ты бодря, услышал тебя после бесконечно длинных дней и ночей. Девятого ответил на твое письмо от 26-го, а вчера получил открытку. Вечером поздно пришла она ко мне, вывездила мутноватую ночь, позвала сегодня радостное солнце. Сегодня у меня полурбочий день — скоро пойду ходить по улицам, читать октябрьские номера газет, смотреть новые книги. Благо, опять стало тепло, и оттуда, где ты, — мягкий, совсем не по-зимнему, волнующий ветер. Идешь, улыбаясь солнцу моему, жмурясь от белизны. Ох, как солнечно! Чувствую рядом мысли, глаза твои. И уже расцветают синие горизонты близкого, необъятного, бескрайнего будущего.

Хорошо, что мы ни на минуту не теряем его ни из мыслей, ни из глаз — значит, с нами, за нами наше будущее, будущее молодой нашей страны. Шестнадцать ей, армия одногодков — строителей, певцов — растет с ней. Бескрайняя радость моя, безмерно желание с наибольшей пользой работать для нее, много работать, расти, крепнуть. Этими мыслями, чувствами встретил я Октябрь, вступление страны в семнадцатый год — год жизни, борьбы. И живой картиной небольшого отрезка этой великой жизни является Новосибирск, молодой, как страна, город, город, выросший в результате освоения большевиками севера.

Хочется мне, чтоб ты видела его, хочется видеть вместе с тобою наступающие дали. И бодрость твоей открытки все ж не успокаивает меня, не снимает страха перед дорогой, перед многочисленными трудностями пути и первого времени на месте. Я уже много написал тебе об этом в прошлом письме. Долго и тяжело дожидаться весны без тебя, но тяжела зима и зимняя дорога для тебя. Да, пока я твердо не уверен, сколько придется пробыть на этой работе. Пока прошла декада. Буду выяснять положение, чтобы хоть увидеть тебя здесь, а то перелегнешь в другое место и будешь опять томительно ждать писем.

Без работы оставаться нельзя. Намерение переехать в Москву очень хорошее. Я писал тебе об этом. А можно ли там будет подыскать работу и жилье? Это нужно узнать, чтоб не сниматься с якоря впустую.

Если бы не зима, здесь была бы и работа, и легче с жильем, а я, если не буду, как теперь, в самом городе, то во всяком случае, не на очень отдаленной периферии. В отношении выбора города и места работы думай сама, я ж не могу учесть всех деталей твоего положения, знаю только, что денег у тебя нет, и это мучит меня, мучит.

Как ты живешь, как изворачиваешься? Неужели перевод так и пропал? Где коротко — там и рвется. (...)

Надо, чтобы ты все писала о себе. Мне нужно это знать. Береги себя, родная. Не беспокойся совсем обо мне. Мне далеко не плохо, об этом ты можешь судить из предыдущих писем. Хорошо если бы со следующим письмом ты мне прислала несколько номеров «Звезды», «ЛiМ». Что там нового из книг, что Минск?

Пиши мне — Новосибирск, Красный проспект, 34, УРО Сиблага.

Здоровья тебе, радости.

Привет всем.

(Подпись)

* 8.11.33. Москва.

Пишу радостно, окунаясь в наше чувство, чтобы смыть все наросты досадного, тяжелого от окружающих и окружающего.

Как видишь, я в Москве, чтобы искать, чтобы найти работу, чтобы обосноваться здесь, пока не позовешь ты меня на свой постоянный адрес. Но вынуждена уехать обратно. Очень досадно и тяжело здесь. Брат второй раз ушел от жены. Ушел грубо и непорядочно. Она беснуется. Кидается (...). Жить у нее не могу. У брата нет квартиры — жить здесь.

Дня два я близка была к безумству. Держали твои руки, твои родные глаза, наша встреча. Теперь оставлю все, только бы к тебе, позови меня скорей, в любые обстоятельства. Стерплю все, только бы вместе. Ведь так давно, так долго без тебя я больше не могу. (...)

Там, возможно, поможет чем-нибудь с квартирой и работой знакомый Шуры, начнаб Миронов. Ему писали про тебя.

Я страшно болею за эту женщину, жену брата. У нее так обнажена боль. За мать тоже. Мне тяжело здесь. Я поеду к тебе. Но до сих пор не имею твоего постоянного адреса.

Пиши на Минск как можно скорей.

Как ты там? Так давно нет от тебя весточки! Заиндевел ты от стуж, родной мой, холодно тебе?

Еще и еще написала бы, да боюсь, что много, что не застанет тебя письмо на месте.

Солнца снежного тебе, силы.

Женя.

1933. (Без даты, без начала. — Т. К.)

Ты не знаешь случайно, кто это обещал мне беречься, быть внимательной к себе? Какая это маленькая родная женушка! Не знаешь? Протяни руку, лапку маленькую свою, возьми со столика зеркало. Сколько рассказывают мне глаза, круги под ними. Все, что недоговаривают письма. Глаза. Горячий лоб. Прячу его на груди. Лапы давай мне. Уймись, боль, отойди. Дай покой ей. Не бережешься ты, нет! Это чересчур много — нести на плечах тревоги и матери, и брата, и женщины, о которой я не знаю ничего, кроме нескольких твоих случайных слов. И всех тебе жаль, кроме себя. А разве ты не чувствуешь, какое преступление перед своим же будущим доводить себя до состояния, в котором писано московское письмо. Испугало оно меня. Как киноплёнка, рассказала обо всем так хорошо знакомыми неровными буквами, когда прикуривается папироска, когда тяжело родной тебе. Я знаю, как тяжело тебе было в Москве. Этим же вызваны строки о том, что начинаешь бояться за судьбу нашего чувства. Разве за него можно бояться? Разве может оно измениться? Ведь в другое время ты не написала бы этого. По глубине его и неизменности у себя сужу так. Неужели между нами есть разница?

Вчера днем твое письмо из Минска от 2.10., а вечером, перед сном уже, из Москвы — от 9.10. С ними ночь радости и тревоги. Радостно вздохнулось мне с работой твоей и с паспортом. Это даст возможность тебе немного успокоиться, об отдыхе молчу, хоть и знаю, как он нужен тебе. Мучительно думать, что столько времени ты тащила на иждивении характерную особь, забывая себя, в мучительных поисках работы. Хорошо бы добиться приема перевода, я тогда бы был немного успокоен тем, что ты можешь отдохнуть.

Как я хочу тебя видеть! Века как будто встали между нами. И зову тебя каждым движением, каждой мыслью. И в зове все яснее и мощнее забывается синева, брызжет из глаз сила и бодрость, ярче всплывают огни над городом.

Но я хочу видеть тебя не день и не час, ведь переезд покупается такой дорогой ценой, как твое здоровье!.. А переброски можно ждать каждый день. Тем более новым кадрам. Хоть бы комнатую встретить тебя. Но не нашел я ее ни на

улицах Гоголя, Пушкина, Горького, Тургенева, ни даже... на Есенина, Державина, Ермака. Надо иметь знакомства и прочее и прочее...

Вот почему тебе лучше ждать весны, а там начинать привыкать к кочевой жизни. Много мы будем ездить с тобой, раз уже с места сдвинулись, и по теплу, и по холоду, по всей необъятной нашей стране. Хорошо, что побывала в дни Октября в Москве. Обидно только, что так много было в эти дни тебе тяжелого, чужого.

Славные дни были, когда мы проезжали столицу. Большой радостью дышало громадное сердце Союза, подъемом, напряженной работой. И думалось, глядя из окошка, об этой прекрасной стране, хотелось скорее получить возможность вместе с нею петь, строить. Республика поверит мне, вернет в ряды своих сыновей. Без этого нет жизни, нет ее полноты.

Много замыслов у меня. Пока разрабатываю детали поэмы, думаю. Слов пока для нее нет. Какое-то особенно свежее слово нужно, а по утрам я работаю и писать не могу — утром время моих писаний обычно.

Дорогая, ты думаешь, что я мерзну в ботиночках. В них еще нет возможности мерзнуть по той простой причине, что я их выбросил и теперь хожу в не шибко приятных, но настолько больших, чтоб не зябнуть. Однако зима берет свои права — и против куртки, и бурок (какой добрый или злой гений вдохновил тебя на покупку их) я не протестую, особенно если приложишь к ним бритву, кисть и самый дешевый вид зимней шапки — армейский шлем (видел в «Динамо»). Попробуй выслать это спешною, ценной, на «до востребования», Центральная почта. Страхуй на цену приличную и адрес обратный пиши четко на случай возврата (если меня переведут) и во избежание пропажи. А пока вышли с письмом пару газет — «Звезда», «ЛіМ». Хочется взглянуть на них. Ну, это, конечно, если сможешь. Не иначе.

Один в большой комнате. И через сумрак окна, через хлопья снега — лицо твое, родное...

Нет разлуки у нас.

Доброй тебе ночи! Покоя.

(Подпись)

Привет всем.

13.11.1933.

Родной мой! Неужели не получил ты до сих пор ни одного моего письма? По-прежнему тревожишься о паспорте, о работе моей... А ведь я столько желала тебе в письмах спокойствия и радости нашей.

Есть у меня и паспорт, есть и работа. Вся эта задержка и с тем, и с другим явилась только следствием недоразумения. Все разрешилось в хорошую для нас с тобой сторону.

Теперь осталось одно — добиться того, чтобы быть вместе. На дорогу нужны деньги. После месяца работы в Беллите они будут у меня, по крайней мере, на билет. Остальное даст энергия и огромное, как бесконечные километры до снегов твоих, мое желание видеть тебя.

Буду видеть. Через месяц плюс дни дороги. Это так далеко и так близко. Ведь там, в Новосибирске, тоже нужна будет моя работа и моя, такая радостная от встречи с самым близким человеком, энергия.

В Минске затянувшаяся осень, грязь и мелкий дождь, а мне на улицах и светло, и тепло от мысли про твой новый снежный город.

Боюсь только — замерзаешь ты там без валенок, без теплой шапки. Выслала тебе 50 руб., чтобы ты приобрел хоть валенки, и боюсь, что ты, упрямый, родной мой, не послушаешь меня и не купишь.

А надо же беречься, сохранить себя для нашего радостного будущего.

Как хорошо, что свободен ты относительно, что работаешь, что дышишь, что живешь, что пишешь мне яркие бодрые письма. Как хорошо. Это все, и как много этого, и в то же время как этого всего мало, потому что мы еще не вместе. Но я день за днем отвоевываю это наше «вместе», буду много работать и буду скоро у тебя.

Успокой меня — купи валенки, боюсь, что отморозишь ноги. Можно ли прислать посылку?

Не может ли твое учреждение сделать запрос Минскому горсовету о том, имел ли ты право голоса? На руки теперь справок о нелишении права голоса не выдают. Отвечают только на запросы.

Будь здоров! Береги себя!

Приветствуют все. Женя.

16.11.1933.

Родной мой! Слышишь ли ты меня? Неужели еще ни одного моего письма не получил? Тяжело это и обидно. Знаю, что нужно тебе мое слово, моя радость, что скоро увижу тебя, потому что я ликвидирую тут все, не останавливаясь перед самым трудным, чтобы скорее уехать. Там у тебя, с тобой буду работать и радостно дышать крепким бодрым морозом. Разве я не сильна, потому что есть у меня твое слово, я слышу тебя и увижу.

Теперь я «очень временно» работаю в Беллите, работа, правда, нервная, но, пожалуй, мне теперь такая и нужна. Хочется услышать от тебя еще слово о моем приезде, но расстояние так далеко. Письма идут бесконечно долго, а мне нужно быть в Новосибирске.

Что с тобой? Тревожишься ты, боишься за мою слабость, нездоровье. Напрасно, Аль, — я совсем, совсем здорова, как никогда прежде.

Верь мне. Как всегда.

20.11—19.33.

Ворчливый старикашка положил мне на стол твое письмо. И хорошим-хорошим показался. Вот что ты делаешь через огромный свиток пространства! Семь дней мчится ко мне слово родных губ твоих. Семь дней тащится оно в сером конверте, чтобы расцвести у меня в руках невиданными цветами невиданных радуг, гореть не угасая. Пятое оно сегодня, слово твое, пять больших-больших радостей в одну эту декаду. Девятого — первое, а перед этим месяц томительного ожидания, тревоги и разнообразнейших предположений.

И все мы играем в прятки, родная! Письма, в которых я писал о получении твоих, расходятся с новыми, в дороге еще, а ты тревожишься, что я ничего не получил. Думаю, что у тебя уже должны быть к сегодняшнему дню и более поздние письма. Писал вчера тебе, рад писать сегодня в тишине, как будто и с тобою. И вчера еще писал, чтобы дождалась весны в Минске.

Ночью почувствовал, идя домой, что это невозможно. Нужно быть вместе нам, а к остальному пробьем дорогу. Только мне тяжело, что ничем не могу я помочь тебе в переезде. Ничем не могу ускорить встречу нашу. Ведь ты понимаешь, что иметь билет— это еще половина, в Сибирь надо собираться хорошо, нужно одеть тебе ноги и голову по-настоящему, без этого нечего думать о дороге. А ты еще посылаешь мне зачем-то деньги! Журить, журить тебя надо, родная! И потому, что — надо иметь эти деньги, чтобы посылать их, и потому что я уже акклиматизировался и не мерзну, и если отвечал утвердительно на вопрос о присылке куртки, то только исключительно потому, что ты не поверишь, что не холодно мне, и будешь тревожиться. Одно только хорошо: может, они помогут подыскать комнатку родной моей. В зиму, в веселый снежный день сегодняшний, жду родную весну. Жду и знаю, что слышишь ожидание мое. Крепко и хмельно оно, как весенние соки, выгоняющие в рост деревья и травы.

Жду!

А снежок падает и падает, и вокруг так радостно — бело, что даже больно от белоснежной радости этой.

Хочу, чтобы был у тебя сейчас тоже вечер прозрачной синевы и мерцающего снега. Чтобы радостью встретила ты его.

Здоровья тебе. Пойду на почту, чтобы письмецо двинулось сегодня.

(Подпись)

P. S. Про это нужно договариваться теперь. Ты уведомляешь заблаговременно о дне выезда своего. В случае — я двигаюсь с места — телеграфирую. Справки о «голосе» больше не добивайся. Я узнал, что действительно делаются запросы, а билет мой побереги на случай, если с запросом затянется.

Привет домашним.

(Подпись)

20.11.1933.

Так долго идут письма. Я знаю только то, о чем думал, чем дышал ты 6—7 дней назад. А теперь, а вчера, а ночью? А всегда и везде без меня?

Мало дней осталось мне в Минске. Считаю их, отрывая листки нашего календаря с «будущим буденновцем» на лошади. Помнишь? Приближаюсь к тебе.

Ты пишешь — если бы не зима, «мне можно было бы приехать». А если зима? Разве боюсь я холода, дней дороги, которые совсем не 7—8, а 4—5. Знаю точно. Мне только радость. Работа будет. Уголок будет.

С деньгами, конечно, неблагополучно. С переводом бесконечно тянут, то обещая, то отказываясь. На суд у меня есть энергия, но боюсь, потеряюсь я, наконец, в этой слишком затянувшейся мелочности. Оставаться тут, с другой стороны, и ради сомнительного успеха прожить до весны без тебя — ненужно и слишком трудно. Ведь, само собой, волей неумирающего в самые мертвые минуты инстинкта, я выбираю то, что легче мне, — атмосферу большего воздуха и света.

Легче перенести все связанное с этой поездкой, чем остаться здесь без тебя и так надолго.

Ты уже согласен. Знаю это, и радостнее мне.

Сегодня удивительно солнечно. Из моего интервью с рабочим изобретателем ничего не получилось, и я, пользуясь свободной минутой, а теперь их у меня мало, прибежала в нашу комнату поговорить с тобой.

Получила твое письмо от 12-го. Боюсь, что писал ты в Москву на данный мной адрес, и хоть письмо перешлют мне, но все же задержится оно, да и ты будешь неправильно ориентирован. А такие яркие (...).

Даже мама и Рафаилович с сияющими глазами встречают меня. Взглянув на них, уже знаю: радость, письма от тебя.

Когда ты получишь это письмо, я уже буду очень близка к дороге навстречу тебе.

Если можно тебе телеграфировать — телеграмма будет дана за несколько дней.

Только береги себя радостным, бодрым, здоровым до моего приезда. Береги, потому что очень тяжело будет, если встречу тебя с затуманенными глазами. Сбережешь? Знаю, уверена как в себе, и неизмеримо больше.

С документами твоими все возможное улажено. Возьму с собой. Вот не знаю только, что из рукописей твоих нужно захватить. Вышли спешное в день получения с детальным распорядком моих обязанностей. Жду вашего распоряжения и так далее, и так далее, мой хозяин, загостившийся в снегах. Я всегда хотела попасть в Сибирь. Страшно то, что все мои желания исполняются, но какими опустошающими путями... Боюсь желать. Учусь брать, уверенная, что возьму. Возьмем с тобою будущее, и хоть узкие ладони у меня, но и я помогу тебе удержать его радостным и ярким.

О теплом для меня не беспокойся. У меня есть бурки, куртка и шапка. Везу тебе куртку твою.

А пока поберегись. Особенно ноги и уши. Купил ли валенки? Получил ли деньги?

Родной мой, Аль! Как радостно думать о том, что вместе... Быстрей бы перелистать оставшиеся дни.

В твоём городе много света. Ты читаешь Теккеря, работаешь, думаешь, дышишь. А мой город говорит мне — уезжай, тогда я полюблю тебя больше и позову обратно.

Сбереги себя!

Женя.

21.11.1933.

(...) Предупредил тебя телеграммой, что сегодня больно и неожиданно свалилась весть о переезде. Выезжать нужно несколько севернее, в Мариинск, за пару дней смотав пожитки. А я уже жил мыслью увидеть тебя здесь, видел уже, вместе были. Такое уже невезение в жизни, как говоришь ты. На новом месте, вероятно, и вести от тебя задержатся, как было с первыми письмами.

Тяжело, но не гаснут голоса бодрости, не опускаю я головы. Силою всей бросаюсь на помощь тебе — нашу встречу мы отвоюем все ж таки.

Дай руку мне, родная моя!

Будь здорова, береги себя.

P. S. В двух предыдущих письмах писал тебе о возможности пересылки мне куртки и прочего. Понятно, что теперь слать не нужно, тем более что я тревожусь, получу ли деньги, чтобы не заблудились они, как в Могилеве. Сохрани хорошо квитанцию. Жаль писем твоих, видно, они в дороге и не застанут меня. Я совсем здоров. Не тревожься ни о чем, о себе, о себе, родная, думай.

(Подпись)

23.11.1933.

Несколько дней было так больно, что рука не поднималась, не могла взять перо. Так и не пришлось нам увидеться в этом городе. А жил этой мыслью. Этим я креп. А с твоей стороны тянули теплые ветра и морозы спадали... Хорошая пороша сыпалась. Крепко тянуло на стихи, и по пути с работы бормотал отрывки мелодий ветру, снежинкам. Говорил им, приглаживал непослушные слова в стройные созвучия. Как всегда в ходьбе — борьба с материалом не чувствуется и слова льются сами, на первый взгляд тяжелые, громоздкие, непослушные. Много думалось, легко дышалось — ты была почти совсем со мною.

Какие это слова: ты со мною! Сколько таится в них нового, неизвестного, неразгаданного!

Дни мои, дни! Молодые, быстроногие! А ведь скоро год, как нет тебя. Это бесконечно много и как один день. Глыбами отламываю я пространство и время, разделяющие нас. Потому не ощущаю ни того, ни другого. Никогда не рыл и не видел, как роют тоннель, а вот такое же чувство. Знаешь, после вычислений работа производится с двух сторон, и на определенном месте две партии рабочих, под землю, встречаются. Тогда в прямом, как луч, отверстии видно небо, тогда через тоннель проходит ветер, а за ним поезда. С таким чувством ожидаю встречи нашей. И чувствую, как тает гора пространства и времени над упорством воли, выраженной самым большим человеческим оружием — чувством.

А мороз опять пал, опять ветер от тебя, родная! Ночь впереди — поговорим, поговорим с тобою, маленькая! Пишу пока из Новосибирска, где каждый день ожидаю отправки в Мариинск — это километров 300 севернее и гораздо глуше. Городок этот, говорят, неприглядный, но не место красит человека — я, видимо, еще высокого мнения о себе. Здесь задержусь не больше чем до десятого декабря, очевидно, как раз уезжать придется, когда это письмо увидит тебя. Сегодня у меня ночное дежурство, я сижу в чудесной комнате такой чудесной громадины дома — что не приукрашивая надо сказать: никогда еще не был в таких домах. Говорю с тобой я никак не один. По полу прыгает воробышек и что-то оживленно рассказывает мне на своем воробьином наречии — не хочет спать пичуга. Недавно мы с ним пили злой сибирский чай, от которого первое

время сводило рот, а теперь как будто и нет лучше напитка. Его (воробышка) принесли совсем мерзлого, как ты когда-то. Помнишь? И то время маленьких командировок, помнишь? А мне напомнило твое письмо, как мы смеялись перед какой-то из последних командировок, что уеду я на год. На дольше пришлось уехать.

Как же рассказать мне тебе это время, родная? Много будем говорить и с глазу на глаз, и на улицах, и в театрах, и в книгах, и в стихах — пока не загладится эта разлука. Нехорошее это слово — и какую всплыла строка в памяти, вечерняя строчка моя —

«в ожиданье свое —
ни процента разлуки,
ни полграмма
тоски».

Работой я стараюсь занять все время. Каждую свободную минуту овладеваю французским произношением, благо сосед мой — кровный француз. Отсюда попутно вытекает просьба к тебе — может, подвернется под руки томик Беранже в оригинале, его — в первую очередь, и вообще, не пропусти возможности подхватить под руки ни Мюссе, ни Бодлера, ни Лиля. Кстати, у Зарецкого пара выпусков (мои) нового издания Беранже, надо бы их взять, а то перейдут в давность, а мне могут понадобиться. Твердо ставлю задачу научиться говорить, теперь набираю словесный багаж и сижу над грамматикой.

Встречаются лица, типы. И опять жаль города, где ты бы имела возможность хорошо работать и свободно дышать в этой громадине с литературными улицами. Я писал тебе, что как будто чужак какой-то смотрел в писательские святцы и называл улицы по очереди. Между прочим, со времени приезда моего идут все фильмы Белгоскино, и новые — «Первый взвод» и «Сосны шумят», и даже «Кастусь Калиновский» рекламируется как «героический фильм».

Тут очень приличное издательство — супер, по оформлению книги, и хороший магазин комиссионной книги. Классика тут в бешеной цене.

И разве можно писать столько маленькой, родной моей, ненужного?

Ей нужны слова тихие, как пожатие руки в сумеречной комнате, когда нужен покой и отдых после тревоги. Всей своей силой и бодростью укутываю тебя.

Покойна будь, берегись. Наше все с нами.

Из Мариинска сейчас же напишу. Только ты никак не беспокойся, что я замерзну: у меня есть уже шапка и большие-пребольшие ботинки. Мне совсем тепло. Хуже с деньгами. Они получены и переведены на счет учреждения, а оттуда я могу получать их только небольшими суммами и очень редко. Обидно, что они нужнее тебе и будут здесь лежать неиспользованные.

Будь же здорова. Приветствуй мать, пожми руку Рафаиловичу, а город «прежний мой», как ты пишешь, и теперь люблю я крепко, принимаю его как свой, люблю без налета тоски и ностальгии. Привет ему и комнате на одной из его улиц, комнате, в которой родная.

Пусть берегут ее все.

(Подпись)

27.11.1933.

Утром письмо твое. Ослепительно яркое. Тепло и радостно стало вокруг. И с большей силой врубаюсь я в гору пространства, и знаю, и вижу: вместе будем. Тем более, что в Мариинске, очевидно, надолго остаться придется.

Как я рад, что бодр ты! Не трать солнечности своей, богатой такой, родной.

Жму руки твои через тоннель пространства от Минска до Сибири.

Спасибо за документы. Да не беспокойся, родная, ни о чем. Ничего мне не надо. Только бы ты, чтобы вместе скорее, и чтобы слова солнечные твои были. Рукописи можешь сжечь, а если мать согласится, пускай поваляются на чердаке.

Об отъезде писал тебе и должна прийти телеграмма. Вероятно, и она, и письмо уже у тебя.

Будьте здоровы.

(Подпись)

12.1933. Мариинск.

Дни... И в днях звуки чудесных слов, что-то нестерпимо яркое, превосходящее необузданную фантазию детства... Теперь пока нет их — нет твоих писем. А они будут идти еще дольше, еще пару лишних дней. Вот и Мариинск...

А несколько дней тому назад, у яркого пламени (...), под ее звонкие песни, когда грел меня твой славный плед — многодневный спутник мой, — много думалось. О созидании прекрасного мира, вырастающего на наших глазах в нашей молодой стране, о коллективе строителей, и словами Олеси, об «одинокой человеческой судьбе». Не думай, что я чувствую оторванность и одиночество. Просто думалось о себе. Мне кажется, что нужно благодарить обстоятельства, в силу которых жизнь оторвала меня от груди и жестко бросила на пол. Вовремя сделано это. Чтоб не избаловался, не заплыл человек. Ведь там, на родине, что я делал в наилучших условиях, скажем, для самосовершенствования, хоть бы просто для того, чтобы хоть немножко выше стоять, чем любой из обывателей? Вывозили только нюх, «верхнее чутье» (у Пришвина хорошо сказано о нем) да способности, которые хоть и не развивались, но и не заплывали (...). А ведь можно было заняться языками, музыкой, научиться писать остро, нужно, культурно, лучше, нежели делал это я. Ведь несмотря на загруженность, у меня теперь хватает времени и для себя, для серьезной работы, хоть бы над языками. Трудовая дисциплина налажена, а это значит, что желание совершенствоваться, брать жизнь возможно шире и глубже — заценено снова. А если это налицо, значит и эффект, который даст человек, будет значительнее.

Возможно больше работать — с этим я иду в Новый год, к дате, о которой писала ты.

Почему-то Новый год не стал днем нашей встречи? Почему, маленькая моя семья с будущим буденновцем, сторожащим календарные листики? В такие же дни декабря переселились мы с тобой в наше жилье... Хоть не нужно этого, потому что нас ждет жилье и светлее, и больше, и теплее. Мы ведь молоды и бодр.

Мариинск... Город это незавидный, обошел его вчера. Хуже Слуцка и лучше Толочина. Педтехникум, библиотека, два книжных магазина, радиоузел. До почты не добрался. Дома деревянные, есть улицы в одну сторону. Хуже всего, что тут сильные ветра, летом грязно и свирепствует враг твой — малярия. Представляю, где ты будешь жить, но совсем не знаю, что ты будешь делать, чем займешься здесь. С жильем здесь, понятно, гораздо легче, чем в Новосибирске.

Я примирился уже с тем, что ты едешь в зиму, но малярии боюсь. Это ведь гораздо хуже мороза. Относительно своего положения — видимо, тут буду уже до конца. Работаю там же, в УРО, только теперь дальше ходить от жилья до места работы. По-прежнему у меня есть свободное время днем, и я так же здоров и бодр. Только по-прежнему я еще острее жду тебя, каждый день, каждую минуту. Жду и боюсь звать тебя, сюда в глушь, в мороз, в малярию. Боюсь за здоровье твое, за силу... Не подготовлена ведь ты ни к пути, ни к жизни тут, в которой будет немало трудного и тяжелого. Но почему-то я совсем не чувствую ни разлуки, ни расстояния между нами. Вижу тебя, встречаю тебя, жду твоих слов.

Пусть тебя встретит Новый год синим небом, белизною снегов и приливом бодрости, которая торит пути, зажигает огни.

Береги себя, родная моя!

Дай руки свои мне и послушай, как сильны мы. Привет родным твоим.

(Подпись)

9.12.1933. Мариинск, Зап. Сиб. края, УРО Сиблага ОГПУ.

То ли раскрыт был семафор, не знаю почему, но рано утром сегодня, когда бежал я поговорить с тобою, — стоял на переезде пассажирский. Дымил облаками пара, вдыхал, смотрел он в твою сторону. Чтоб не обходить — шагнул я через площадку, а сойти не смог... Слишком глубоко вдохнула грудь запах легкой гари и утренней вагонной краски, чересчур заманчиво пахло на меня широкими крыльями пространства славное слово — дорога!

Прыгал на ходу...

Несколько дней люди ходили как бы в ломком хрустальном стакане. Висел сверкающий иней, опускал ресницы, торопил шаги, освежал щеки утреннею ходьбой. И казалось, над головой и под ногами одинаково синее, и ночью, и днем, стелется хрустящее звездами небо. А дома, как продавцы шаров, стояли — смешные! — с радужными пузырями дыма над головой. Ломается под ногами звонкая тишь, а из тяжелого морозного тумана вырывается заиндевшая лошадиная морда с такою славной звездочкой на лбу...

Потом вдруг теплый снежный ветер... Тяжелый, сырой, бьющий в лицо, как складки поднимающегося занавеса. Как хорошо знаю я его, мутный ветер родины, в котором дыхание близкой весны...

И тяжело забурило — меня в чувства, Мариинск — в снега... Пурга... Пурга... Пурга и тайга... Знакомые давно, овевные романтикой. Детства слова. Щемящие... Таинственные... Под шумы пурги идет время. Вот уже вторая декада кончается здесь, может, уже хоть одно из моих писем у тебя, может, через несколько дней ожидания будет у меня листок из твоих рук... Родная! Родная! Звенят тишиною мои одинокие вечера в мыслях, словах к тебе, о тебе. Шли мне скорее свои слова. Ты слышишь меня? Беспокоит меня твое здоровье и, как писала, «очень временная» работа. Так долго ничего не знаю... Если бы береглась ты, как мне хочется этого, если б имела возможность жить, как думается, тогда спокойнее...

Если б мог я через расстояние это взглянуть, присмотреть за тобою... Тяжело быть вместе только мыслями, когда тебе давно уже нужен и отдых, и покой, а думать о себе ты совсем, совсем не умеешь.

Как всегда я здоров и бодр. Живется мне неплохо, немного далеко ходить на работу, но я не особенно мерзну. Да и зима теперь мягкая, как будто не в Сибири...

Береги себя, родная, да шли мне скорей свои слова.

Привет всем домашним. Мариинск ЗапСибкрая. УРО Сиблага ОГПУ.

Деньги я получил уже все.

20.07.34. Минск.

Как мало нужно женщине. Маленькое слово и родная забота. Только сейчас получила все три письма. А то все предыдущие дни — неодолимая тревога.

Я не расстраиваюсь. Читаю понемногу. Везти в Москву не хочется. А отвозить назад? А после это снова затянется. Сделаю. Только мне надо писать, чтобы спокойно трогаться.

Ты ни о чем не беспокойся. А спать и есть надо конечно.

Сейчас, сегодня, едет Мария Константиновна. С нею тебе веселей будет. Наверно, будет до первого. Она полагает, что доставит тебе хлопот. Убеди ее, чтобы спокойно прожила все время у тебя. (...)

Смотри за собой. Спи и ешь. Я поправилась немного. Ем так много, что трудно и представить.

Глаза, чело, родные.

Женя.

* Минск. (Без даты. — Т. К.)

Последнее письмо твое снова о том, чем я жила в Сибири(...). И может быть, неслучайно: сегодня во сне я снова была там, блуждала по лесу, в топи, при бурных речках и с ясностью в мыслях. От того, что стало постоянным в моих днях, именно,

моих — не наших, ведь это только женщине нужно — эти твои слова бесконечной искренности — ветерок не подует — слова, которые не повторяются как слова, а начинают жить жизнью того, кто произнес их.

И сразу почувствовала тревогу. Ощутила твои родные руки. Это богатство. Как всегда. И этого нельзя ничем нарушить.

Работаю понемногу, играючи. Много сплю, ем. Дождь мешает попользоваться речкою, воздухом, лесом. Жду, может, мы вместе пойдем за грибами. Их много в этом году. Мама начинает солить рыжики.

Вчера была снова в Издательстве. Третьего тома нет. Окончательно. Ну, ничего, он самый маленький — 26 авторских листов. Сделаем.

Как там наша гостья? Передавай ей привет. Старика жалко мне. Поехал зря, а приехал — уже назначили другого. Дикость. Но он уверен, что устроится.

Как чувствуешь себя? Нужно все-таки, чтобы ты приехал в Мамонтовку. Если появится у тебя какая-нибудь возможность. Может, с площадью здесь получится. Если же нет — ориентировка на Шуру. Надо перебираться. Вот и все.

Жду письма.

* 25.11.1934. Москва.

Еще так близко стоишь ты возле меня, как в минуты перед отъездом, а уже звенят трамваи, надо оглядываться на каждом шагу, на каждый гудок. Москва...

Был у Шуры. Нашел ее в банке, в очереди, веселую, хорошо выглядит. (...) Мимходом она сказала мне, что какая-то знакомая спрашивала у нее про квартирентов. Видишь, перспектива опять.

Бабушка уточнила эту перспективу: комната с ванной, отоплением и светом: газовой плитой, но 2000 р.

Если это всего — так я думаю, что на две вещи она разобьет эту сумму. Половина — это моя куртка, а вторая — это перевод. Только я пока что полагаю, а медведь в лесу. Завтра напишу уже более полное письмо.

Теперь еще о том, что недоговорено: спроси у Головача про Зарицкого и Семашкевича, а также про адрес и отчество Буйло. Также ты хотела написать письмо, а адрес я забрал: п/о Исаклы Ср.-Волжского края Сергиевский р-н политотдел МТС, Тимофей Кондратьевич и Анна Фоминична. (...)

Будь здорова, мая маленькая, родненькая-родненькая!

Дай мне лапку свою. С нею яснее, радостнее, полнее смотреть в будущее.

(Подпись)

Мать и Бороду приветствуй от меня.

* 1934. Ноябрь.

Чуть нахмурился день. Похолодало. Не собирается ли он послать тебе белую дорожку с первого молодого пушистого снега. Хочешь проехать, пройтись по дорожке этой? Будто по светлой дороге весенних садов первой весны нашей. Не с сожалением прошлого вспоминаю я ее, а с радостью окрепшего нашего сегодняшнего. И через двенадцать часов дороги протягиваю тебе руки, привлекаю к себе ясноту, радость свою.

Вдруг (...) и неправдою сделались, а кажется, звучали реально совсем слова твои про очерствение, про привычку. Нет этого и в помине. Как в первые дни, не могу терпеть разлуку, как всегда хожу с именем, с рукой твоей, хочу и смотрю глазами твоими везде, где надо думать нам вместе. (...)

* 1935. (Без даты. — *Т. К.*)

Женик, милый!

Не вижу тебя и во сне, и из писем также мало слышу тебя, родную. Мало ты бываешь со мною, и потому особенно ощущается отсутствие. Так давно притрагивались ко мне малые мои руки, далеко от меня губы твои, тревожные твои мысли.

Сколько солнца здесь, родненькая! Я спрячусь от него в речку, как крокодил, за ставни комнаты, — достаёт. Представляю, как досаждаёт оно тебе, хотя ты ему и рада обычно.

Не хватает здесь маленькой моей женщины, обидно мне, что она там работает, перерыва себе не давая. Но я верю, что ты немного все же слушаешь меня. Надо беречь себя. Будет больше у нас светлых дней, на которых мы держимся в жизни, на берегах ее и в ее глубинах.

Приказываю головке не болеть, сердцу — биться, груди дышать спокойно. Пускай ходит по дому нагая, славная такая девушка, чуть важная, но готовая смеяться и дурачиться.

Минск интересуют полнотою жизни, хорошим обликом, статными фигурами. Только я хожу один. А ты?

Я не готов здесь весь отдых высидеть. А то приезжай ты ко мне.

Мать не понимаю. Она хочет ехать, но что-то ее здесь задерживает. Я говорю, чтобы ехала — каждый день. Встревожилась, что голодаешь, — посылает тебе через Аксельрода яйца. Не мог уговорить.

Пиши мне! Не забудь зайти к доктору.

Вечерок здесь. Славно, милая!

Иди ко мне! Иди!

(Подпись)

11.05.1935. Минск.

Приветствую тебя, родной!

Еще лежу, но завтра думаю подняться. Чувствую себя очень странно. Есть ничего не могу — рвота. Кроме того, все тело в волдырях, которые я ночью разрываю, — реакция кожи на сыворотку.

Деньги мы получили, так что не беспокойся. Все-таки думаю скоро увидеть тебя.

Весна растёт с каждым днем. Вчера Рафаилович притащил мне огромный букет черемухи.

Апельсины не присылай. Противно думать о них.

Как ты? Отдохнул ли уже по-настоящему? Больше писать трудно.

Женя.

Жду от тебя письма.

Минск. (Без даты. — *Т. К.*)

Приветствую, родной!

Прости, что пишу скупо и слишком редко. Разленилась, не поднимаются руки. Учусь ходить. Не совсем удачно. Но уже порозовела. Встревожило твое письмо о болезни твоей. Все ли прошло окончательно? Телеграфируй — мне будет спокойнее. Денег достаточно — 1500. Так что не работай теперь, ведь это уже свыше всяких сил, а значит, грозит тебе всякими реакциями. Думала выехать 17-го курьерским. Сегодня был районный врач. Он не советует и вообще не санкционирует. Боится взять на себя эту ответственность. Отсылает к Шиху. Если этот разрешит — 18-го буду в Москве, если нет — высижу еще пару дней. Волдыри прошли от кальция. Реакция кожи. Организм отравлен сывороткой, и я наблюдаю всякие странные явления в себе. Но в целом живу, и это меня даже ослепляет неожиданностью. Мама принесла нарциссы и тюльпаны — я их вдыхаю, как жизнь, как весну, с которыми так страшно было... Ну это так не думается. Думается о большем, о тебе.

Шлю тебе все лучшее в себе.

Телеграфируй обязательно о здоровье. Женя.

29.04. Москва. (Год не помечен. — *Т. К.*)

Письмо изобилует точками. Как будто бы симптом четкости мысли. В мыслях твоих обо мне не хотелось бы ее (этой четкости). Как видишь, хоть в одном я всегда последовательна: хочу невозможного.

Мелочи. Они мне не удаются, по обыкновению. Плаща не могу «выстоять», шляпа получилась нелепая и уже своим цветом (голубой — осеннее небо) исключает плащ. Но уже это не волнует. Слишком устала. Еду 30-го. Перевод почти закончила. В комнате у меня чистенько, отдаленно, слишком отдаленно, напоминает май ударницы. Неважно. Мелочь. Завидую тебе только «в ванне».

Уже начинаю напряженно дышать без тебя. (...)

Напиши в Минск спешное о приезде в Москву.

Береги себя во всех отношениях (мужское любопытство не включаю).

Женя.

17.07. Москва. (Год не помечен. — *Т. К.*)

Приветствую, родной!

Чувствую себя замечательно, встаю почему-то очень рано, успеваю и с чаем, и с уборкой, и с купанием, и с лечением. Хочу повторить санаторный месяц. Есть, правда, не хочется — жара, но ем упорно, чтобы сохранить «тяжелый вес».

Как видишь, выполняю все твои инструкции. Отсюда, по чисто мужской логике, вывод — необходимо, Вам, выполнять с такой же добросовестностью мои. Обязательно нужно поправиться, ничего не делать, ни о чем не тревожиться. Ни о ком тоже. Маме я напишу завтра и постараюсь убедительно, пусть тебя ничего не смущает. Если она посидит пару лишних дней — для тебя это все-таки лучше. И ей спокойнее.

Шлю тебе каплю со лба свежего московского, нашего, дождика.

21.07. Москва. (Год не помечен. — *Т. К.*)

Доброго утра!

Поправился ли уже мой парнишка в мамином доме?

Сегодня ждала письма, но, возможно, оно будет после обеда.

По-прежнему толстая и ленивая. Вечером не работаю, а необходимо. Приезжаем с Линой в 6—7 часов и в лес... Спим с 11-ти, встаем в половине седьмого. Совсем по-санаторному.

Пришлось согласиться на замещение с 15 августа. Имеется в виду, что я и останусь на этом месте, но поскольку я категорически отказалась, мне дано право сделать по усмотрению по истечении этого месяца.

Хочется, чтобы ты был абсолютно спокоен, чтобы радостно и полно дышал, немножко писал для себя, немножко помнил обо мне... Хорошо, родненький?

Смотрю в зеленые глаза и улыбаюсь отраженному солнцу нашей еще молодости.

Приветствуй маму и Рафаиловича.

Женя.

1935. (Без точной даты. — *Т. К.*)

С утра слежу за сменой чудеснейших эмалей, даже не знаю, как можно назвать все эти цвета, тона, полтона и оттенки. У меня нет для них имен, и потому воскрешаю в начальном звучании слово — прекрасно. Начинаю понимать, что всю жизнь можно рисовать только море и писать только о нем. Особенно хорошо повыше уйти в горы и там думать, не оскверняя воздуха даже папиросой. Книгу таскаю больше для проформы. Вот уже около декады ношу «Сыновья» Фейхтвангера, а прочитано страниц 30. (...) Иногда отдельные фразы несколько раз перечитываю вслух.

Дни настолько хороши, что по свойственному мне недоверию начинаю думать о предстоящей расплате за них. Это очевидно нервы. Их не залечишь, не успокоишь. Обостренное восприятие, пожалуй, скорее достоинство, чем недостаток.

А в Москву здорово хочется. У тебя уже, наверно, морозцы. Это слово — морозец — особенно приятно и неожиданно произносится и представляется у моря в белой рубашке с расстегнутым воротом. Очевидно, сразу придется переи-

ти с купальни на каток. Хороша страна наша! Столько простора у нее, что с одной стороны тропики, а с другой вечные льды. И мы граждане этой страны!

Приветствую тебя!

Возьми из рук моих синей воды на лоб, на глаза.

Будь здорова.

(Подпись)

16.08.35—36. (Год помечен рукой Лужанина. — *Т. К.*)

Не тоскуй о прекрасном городе нашем. Изнанка его для меня: утренняя тряска — Плющево — Казанский вокзал — Андроньевка. Почему-то опаздывают поезда, люди звереют, и с утра я уже чувствую себя разбитой.

Море дает тебе спокойствие. Оно необходимо тебе даже в большей степени, чем мне. Не нужно приписывать мне, Аль мой, и таких мыслей о «проступке», которым ты называешь свой отъезд. Тебе нужно было уехать, и, как всегда, я была только эгоистична, когда хотела этой поездки. И если мой эгоизм, мой инстинкт сохранения остатков равновесия, дал тебе радость видеть море, спокойно думать твоими строчками — это дает мне маленькую радость наряду с приходом, постепенным, правда, спокойствия. Время мое не ушло. Ты прав. Я тоже увижу море в 1937 г. после пятилетней разлуки с ним. Об этой встрече я мечтаю, как может мечтать девушка о многих еще непонятных вещах. Я знаю, что дает море, и нельзя так надолго безнаказанно уходить от него.

Буду искренне рада, если оно даст тебе столько, сколько давало мне всегда. Оснований для твоих тревог нет. Дыши легко. С квартирой по-прежнему (...). Харин говорит, что теперь мы не в его власти. Даже квартплату будет взимать ВИМ. Оказывается, в этой комнате поселились ВИМовские рабочие.

Слышу тебя. Приезжаю рано домой, даже так рано, что успеваю хоть 40 минут побыть в лесу. В 11 мы с Линой уже в кровати. Но почему-то спится, как всегда, когда нет тебя в комнате, очень тревожно. Просто не спится. (...)

Купила какао. Пью по утрам, по примеру Лины, с маслом.

Что касается коньяка, то его выпил Лазарь Каплан, почему-то пожелавший навестить меня в выходной день. Он и без работы, и без крыши. Не понравилась мне немного его слишком большая осведомленность о ситуациях моих (работа). Не знаю, чем вызвана была эта откровенность. Но это мелочь.

Ты не оставил мне доверенности. Каким путем получать деньги?

Большая просьба к тебе. Настаиваю на выполнении. Если что-нибудь коснется ограничения твоего, вызванного недостатком денег, — телеграфируй. Я получила за Данилова — они у меня лежат. Зарплата почти не расходуется. Вообще у меня в этом отношении без задоринки. (...)

Сердце меня беспокоит только изредка, но к врачу пойду обязательно. Будь спокоен. Уточнила для себя даже срок визита.

Хочу для тебя много хорошего, как в тот выходной день, день, когда уезжал, о чем не сказалось.

Возьми его безоговорочно.

Основное — спокойствие. А не спокойнее ли остаться в гостинице?

Женя.

Лина передает тебе привет. Не забывай и ты об этом в письмах.

1936. (Без точной даты. — *Т. К.*)

(...) Сегодня был сон. Во сне была ты, было много хорошего яркого солнца. После грозы оживали деревья и трава. Улыбались капли росы. Мы шли, взявшись за руки, как дети, смеясь, улыбаясь, радостно и светло находя губы, заставляя улыбаться и оборачиваться прохожих.

Сегодня был день. В дне было много солнца и никакой работы. Я ходил около Невы, смотрел на первую зелень, радовался нежной улыбке северной весны. Почему не было тебя? Бессмысленно. Ведь я чувствовал тебя, руку твою в своей,

ловил на губах у тебя слово, звал на губы улыбку. И она была. Расцветала ясно, как весна.

А вечером в Александринском я плакал. Хотелось пожать руку соседу, схватить на руки старушку Корчагину, расцеловать хирурга Кречета, спасшего наркома.

Прекрасно и велико искусство. И в этот вечер я очень ярко почувствовал смысл настоящей человеческой жизни, полноценной, радостной и простой.

Ушло отупение от моей невразумительной работы, исчезли налипшие частицы пошлости и цинизма, налипшие в результате безразличия и к себе, и к жизни.

Радость больших человеческих чувств пришла ко мне. Я почувствовал рождение слов, смятение чувств, предшествующее этому. Мне хочется закрепить это. Сделать этот вечер нашим, общим, как и все. Но тебя нет, родная. Пусть же сегодня ночью уйдут эти слова к тебе.

Дай мне руку, моя славная, родная, безгранично близкая девочка!

Обними эту родную, беспокойную башку. Дай мне глаза свои, руки свои. Послушаем тишину, послушаем себя и наше.

Иди ко мне. Иди!

(Подпись)

13.08.1937. Новороссийск.

Сегодня после четырех дней дороги был на море. Именно сюда мне нужно было приехать, в место совершенно новое, ничего не возбуждающее в памяти, не обязывающее к разговорам и знакомствам. Может быть, это в дальнейшем будет обременительно, но сейчас кажется изумительно просто и хорошо пройтись по улице, влезть в воду, посидеть на бульваре, подумать в номере над строчками — отдавая отчет только себе одному. Молча.

Коробка, которую я занимаю в гостинице, выходит окнами на главную улицу города — «Улицу Советов». Тут есть вполне приличная и доступная столовая и кондитерская, где за стакан какао, молока и сдобу спросили 2 р.18 коп.

(...) Оказывается, что дней в моем распоряжении осталось не очень много. Но если я сумею сохранить душевное равновесие и использовать их возможно эффективнее, то будет довольно.

Дорога была интересной и промелькнула очень быстро. Два дня шел, покачиваясь, пароход — «Грузия». И кругом было море, настолько синее, что небо казалось бесцветным. Из Одессы я выехал с палубным билетом, но в пути очень быстро нашел местечко в каюте. Оно мне почти не пригодилось. Все время сидел я на верхней палубе, у самого борта, слушал море, смотрел на знакомые места. Евпатория, Севастополь, Симеиз, «Ласточкино гнездо», Ялта. Смотрел панораму, ходил по Ялтинской набережной. Но самым лучшим было сидеть и разговаривать с морем. Рождались строки, которых у меня давно не было, и было неожиданным, впервые за много лет, спокойствие.

Солнце светило ярко, море вздыхало широко и спокойно. Они хотят видеть тебя. Я отвечал им: «Увидите!»

Не мне нужно было первому попадать сюда. Это больно и мучительно. Тебе давно уже нужно солнце и море. И в это время больше, чем кому-нибудь. Мне нужно было еще на пару месяцев взять себя в руки и отправить тебя. Может быть, уехать вместе. Я не знаю, как лучше. Может быть, вместе мы смогли бы здесь найти общий язык. Найти искренность и договориться обо всем. Может быть, лучше, что ты побываешь здесь одна. Я знаю лишь одно. Вернее, не знаю, ум и память не принимают участия. Я чувствую, что тебя нет. Ведь времени от последнего взмаха твоей руки до этого вечера мало. Одно незаметное мгновение. Пятидневка, которая прошла бы в Москве, прежде чем успеешь опомниться.

Оказывается — не так. Той тебя, которую я хорошо знаю, нет давно. Но нет и той, которая появилась не очень давно, той, которую ты ограничила для меня.

Неужели я примирился с этим? Неужели сгладилось чувство большой утраты?

Или ничего не изменилось во мне. Все, что жило к тебе, осталось трепещущим, живым и больным? Это нужно понять.

Я ничего не могу повторять, не хочу ничего вносить нового. Я не могу только зачеркнуть вопрос к тебе. Я хочу только, чтобы пред тобой всплыли ассоциации, воспоминания, владеющие мной много дней. Они не могут быть написаны сейчас. Но я вызываю их и ставлю перед тобой. Я буду возле тебя, когда они появятся. Может быть, ближе и понятнее будет тебе боль, горечь и одиночество.

Я хочу многого, и тем настойчивее, потому что это относится именно к тебе.

Я исполнил твое, неоднократно высказывавшееся желание: как можно скорее уехать. Я уехал. Сознание, что моя поездка на юг по отношению к тебе — преступление, которого ты мне не забудешь, — обострилось. Но я знал, что мне надо на этот месяц уехать, уехать как можно дальше, от знакомых, от привычной обстановки. И это совпадало с твоими мыслями. Мы разговаривали и думали, что это должно помочь обоим. Что думала ты — я не знаю. Но уже оба мы стали перед фактом. Я хочу, чтобы это время дало возможность тебе несколько окрепнуть до поездки сюда. И еще раз повторяю просьбу — смотреть за собой, отдыхать возможно больше и проверить сердце — побывать у врача.

Твое время не ушло. Для жизненной полноты необходимо здоровье, а без него не обойдешься при всех вариантах будущего. Услышь меня хоть издали. Слышишь?

Дело идет к вечеру. Сядь и расскажи мне, что ты делаешь, что ты думаешь.

Пиши больше, если можешь, чаще. Обязательно напиши, что с комнатой? Мне больно, что она опять свалилась только на тебя. (...)

...Сейчас иду в библиотеку, добывать роман поинтереснее. Постараюсь почитать.

Будь здорова. Смейся.

Дай руку.

(Подпись)

А меня уже потянуло в прекрасный наш город, в шумную, беспокойную, родную мою Москву. С какой радостью я опять увижу ее, пройду по знакомым площадям и переулкам.

Лучше места нет! Я понимаю Маяковского:

Я
хотел бы жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой страны —
Москва!

Маяковский прав и здесь. Жалею, что не взял томика его стихов. Новороссийск, главная почта, до востребования.

19.08. Москва. (Год не помечен. — *Т. К.*)

Рабочий день окончен. Сегодня он был совсем приемлемым. С утра до 1 ч. Консультант пребывал в Ленинской библиотеке. Там огромные праматери книг, требующие реставрации. Отобрала древнееврейские «стеzi жизни» — 16 столетие. Альбомы Репина с варварски вырванными листами (корешки оставлены) пойдут во вторую очередь. Чувствую себя совсем неплохо, несмотря на то, что вчера мы с Линой попали во второразрядные бани (все на ремонт закрыты) и чуть не погибли. «Домыться» я уже не сумела. Сердце. Больше не буду делать таких экспериментов. Сейчас еду домой. Читать. «Огоньковский» кроссворд уже решила самостоятельно, без вашего нахального вмешательства в мои не совсем логические мысли и без ваших наводящих вех.

Платье все-таки купила за 150 р. Цвет вишни, блеклый. Крепдешин. Так дешево, что не хочется верить в его приличие. Ты бы не одобрил. Знаю. Но потребность в новинке оказалась сильнее этого аргумента. Оно только полнит

меня. Оказывается, размер 50 это и есть мой размер. А вес 60 кг (без курсива). А в санатории было 58. Значит, «наращивание» началось после санатория. И еще, значит, не все потеряно.

Будь спокоен и займись этим приращением всерьез. Я хочу тебя встретить сильным, радостным.

У нас сегодня холодно, но когда утром я выходила из метро «Ленинская библиотека», мне казалось, что это путь к солнцу и морю. Ты уверен, что я увижу его?

Женя.

21.08. (Год не помечен. — *Т. К.*)

Пару мыслей тебе. Тоскливо. Дождь. Много спим с Линой, мало читаем. Почти ничего не хочется. Разве только белых стен и уюта с большим венецианским окном на озеро.

Во сне по обыкновению не вижу тебя. Странно. То же и ты?

Вчера начала продолжать (хорошее сочетание) английский. Преподаватель — Жук. По Вашей зоологической терминологии. Но лингвист глубокий, а не учитель грамматики. Работа поглощает весь день, не остается места мыслям. Это даже хорошо. Даже наверно хорошо.

Хочу, чтобы ты совсем спокоен был. Совсем молод там у моря. Совсем глубоко дышал и, может быть, вдохнул нужные строчки.

Обо мне не тревожься. У меня состояние странное. Очевидно, обычная депрессия. Но это близко к спокойствию. Держусь за него. Даже боюсь читать Достоевского. Взяла в руки и отложила. В другое время такого рода спокойствие испугало бы меня своей пустотой, бесперспективностью, а теперь я приветствую его, прячусь за него. Знаю, что оно принесет нужную силу.

Не надо щемящего чувства, которое не покидает тебя. Сбрось его. Я помогу тебе сейчас моей рукой на лбу твоём. Хорошо?

С твоими счетами не совсем ладно. Будут оплачены только 29-го. Но если тебе понадобятся раньше — телеграфируй, — у меня есть деньги.

Приветствую.

Женя.

Прошу, не ограничивай себя ни в чем.

26.08. Москва. (Год не помечен. — *Т. К.*)

Вчера совсем разволновалась. Очевидно, встревожила и тебя. Почему-то на фоне Зининых рассказов о родном городе померещились всякие возможности. Тем более что не последовало ответа на телеграмму. Прости, если поволновался. Не хотела этого. Днем сорвалась с работы. Уехала в Плющево за домашним твоим адресом (точно не помнила), чтобы дать телеграмму на дом, помимо той до востребования. Но, уже приехав в наркомат, получила твое спешное.

Успокоилась. Как все-таки недопустимо работает связь. Ты получил письмо на предыдущий день, и притом спешное.

Обо всех новостях написала еще вчера. В Киев ехать придется дня на три. Выеду числа 29-го. В Москве буду числа 5-го. У нас все спокойно. (...)

Видеть тебя хочу очень. Но «думать» не думается. Как-то все отстраняют эти мысли потребность в спокойствии. Знаю одно, что близок и дорог ты мне.

Будь здоров!

Женя.

6.10.1937. Феодосия.

Море стало еще прекраснее за пять лет разлуки. Вчера я бродила в нем, как в переулках родного города (не Минска). Не хотелось уходить из этого волнующего покачивания. Лина уже стала кричать с берега. Вода теплая.

Вчера вообще был совершенно изумительный день. Впервые солнце на пляже не сопряжено для меня с головной болью и сердцебиением. Поэтому, забыв о времени, я, вероятно, немного сожглась. Лина сегодня не могла спать — ни лечь, ни сесть. (...)

Зато сегодня волнующий отдых от солнца. Дождь. Мелкий и теплый. Собираемся на рынок за виноградом. Вечерами здесь, очевидно, безумеют от скуки. Город с восьми, даже с семи — совершенно темнеет. В санаториях тоже гаснет свет. Толпой бродят курортники по набережной. Мы с Линой тоже. Ищем знакомств. Не безуспешно. По крайней мере, для Лины.

Как ты? Здоровье, нервы? Что Минск?

Начинаю ждать твоего письма. Дни все-таки очень бегут, несмотря на безделье. Если ты с Лазарем — приветствуй его.

Брит, нет, как всегда, жесткая щека? Для меня?

Женя.

11.10.1937. Феодосия.

Море сегодня тревожное, злое. Лежу и смотрю на него неотрывно, насматриваюсь. По-прежнему не думается ни о чем. Вчера к вечеру пришло твое письмо. Не могу представить себе холода нашей комнаты и постели. Но это не пугает меня. Так привычна смена температур, состояний, расцветок, оттенков.

Как всегда, рада твоему письму, бодрящему тону в нем. Хотя часто убеждаюсь, позднее, что он напряжен, создан стараниями. Говорю это сейчас без горечи, только чтобы честно. Так подумалось...

Приветствую тебя. Шлю тебе немножко нашего тепла.

Женя.

2.10.1938. Ривьера.

У моего изголовья ведро роз — они из сочинского дендрария. Розы не мои, но от этого не теряется их яркость и аромат. А казалось бы иначе. Может быть, я уже на пути к спокойствию... Ну, пусть это будет хоть островком, маленьким, под угрозой смыва, но еще не сегодня и не завтра.

Твои строчки издали всегда приносят мне успокоение. Ты говоришь — будь спокойна, и я чувствую, как от этих неизменных слов на меня сходит и тишина, и теплота.

Море успокаивается. Я уже немного плаваю. По-настоящему, по-собачьи, захлебываясь солью и волной, когда устаю. И это дает мне совсем детскую радость.

Загорела — быстро и ровно. Значит, по-прежнему здорова. Недомогания кончились. Я просто все время промачивала ноги, а так как лишних туфель не было, то они до вечера и не просыхали. Как всегда. Мне хочется, чтобы ты успел получить это письмо. Куда ты направляешься? Как у тебя с деньгами?

Получила от Лазаря письмо. На четырех больших страницах. Он честно встряхивает мятущую женщину за плечи. При этом используется и Гейне, и Коран, и собственная изобретательность. Я ему совсем по-нежному благодарна за это. Ты не должен судить о степени моей тревоги по этим кривым строчкам. Нет нужной мне бумаги, скверный карандаш и неудобство положения — пишу лежа, когда остальные пять спят или отдыхают. Но даже и в этом положении — перед глазами море, и оно приветствует тебя всей своей глубиной и беспредельностью.

Сейчас оно чуть вздрагивает, и волна так мягка, что не может быть рождена волнением. Она только линия изгиба живого тела, желание и жизнь.

Приветствую тебя, Алесь!

Женя.

21.10.1938. Ривьера.

Что-нибудь случилось с тобой? Днем я спала в кошмаре, очевидно, вызванном сильной болью головы и небольшой температурой — бесконечный дождь. Видела тебя злым и жестоким, с железом в руках, вонзающимся в мои руки. Слышала злые слова. Зачем пишу тебе об этом? Сон. Но вот и до него, и после него я не нахожу спокойствия для себя. Я пришла к морю, как к другу, отдающему и ничего не ждущему взамен. Мне нужна была его ясность, его глубина, уверенность, сила.

Оно встретило меня новой тревогой. Нет еще бури, но и не видно конца смятению. Здесь очень тихо, в Ривьере. Неожиданно тихо. Поэтому шум моря, удары волны гулко отдаются в сердце.

Чем успокоить глаза, мысль, сердце? Как отвести от новых ударов?

Ты этого не знаешь. Тебе трудно самому. Ты странно ходишь. Я не понимаю тебя сейчас. Но я хочу для тебя того же, что так нужно мне — силы, спокойствия, возможной радости.

Жду солнца. В дни его, может быть, радостнее будут строки к тебе.

Чем ты живешь сейчас?

Лина со мной.

Женя.

Как напряженно пишется тебе — или просто я физически больна. Нет, это напряжение Москвы и Загорянки при встрече с тобой. Если я не избавлюсь от него здесь — уйти нужно будет совсем. Но я знаю — твоя жизнь так вплетена в мою, таким судорожным переплетом, что без новых корней — «совсем» — не вырвать.

Не хмурься — я все-таки учусь спокойствию. Учусь с азов, терпеливо, применяя хитрость и силу воли.

Приветствую тебя, как всегда, лучшим.

Женя.

(Без даты. — *Т. К.*)

...Письма получаю на пятый день.

Почему ты не можешь остаться до первого? Ведь к тебе же относятся по меньшей мере либерально, и за свой счет неделю можно добиться?

Поездка в Минск для меня новость. Но я тебе советую, а ты советов не слушаешь и не принимаешь.

Конечно, сделай, как покажется лучшим.

О Волошине, пожалуй, я знаю больше. Искренне люблю этого громадного фламандца, у которого стихи очень не похожи на жизнь.

Меня опять прорвало стихами. Может быть, несколько однообразными, но настоящими (кажется). Только заниматься ими некогда. На ходу записываю пару строк; они поют и не уходят. Поют сильнее, чем в молодости.

10 часов. Домой попаду в 11. Сидеть надо по меньшей мере до 3.

В этом месяце везу миллион работ. Пожалуй, такое состояние — самое нужное для меня...

Мне пишешь неласково. Строки, как чужие. Что это? Или восприятие?

Привет.

(Подпись)

1938. (Без точной даты. — *Т. К.*)

А слова приходят такими близкими и дорогими, как никогда. Я вижу ее, эту упрямую и глупую, кажущуюся мне девочкой женщиной. Сколько хорошего я должен дать ей. Независимо от того, какова она ко мне. Какое значение имеет это по существу. Мутная вода страдания сбегает, и остается сияющий мир с зеленеющими клейкими листьями. Мир, расцветающий при ее появлении. Мир, поющий при ее прикосновении. Страшные дни эти позволили смотреть глубже и видеть

дальше. И в этом, видно, в листьях, исписываемых мною, уложилась вся глупая и противоречивая моя натура. Полно как никогда. Приходи ко мне, родная, скорей. То, что ты со мной, — это уже много. То, что ты улыбаешься мне, это — счастье. Глупая прекрасная синяя птица. То, что ты говоришь, — это большая волна хорошей настоящей окраски.

Ничего из мучившего меня не допускаю к себе. Уйди, как пришло. Но без следа. И ты помогаешь ему уйти так, чтобы никогда больше не возникать в сознании. Тепла много. Не на двоих. Больше. На мир. Неистребимая жажда жизни во мне. Я всасываю жизнь всеми порами. Только полным должно быть все. Твое — мое. Дождей, гроз веселых хочу! (...) И знаю — буду зеленым. Так напрягается земля, так стонет она, рождая весну, выращивая травы и цветы.

Какая же теперь тревога, родная моя, неотрывно близкая. Чего еще боюсь я? Ночь теперь. В тишине этой ночи видны через окно громадные звезды. Чистые, весенние. Прозрачные совсем. А я боюсь. Триста тысяч раз упрекаю себя в том, что ты уехала. Как нужно, чтобы ты здесь была. К тебе просится, трепеща, рождающееся слово. Почему же преследует проклятая давняя мысль, что я тебя больше не увижу...

Спи спокойно, пусть ничто не тревожит тебя. Спи, я посижу, постерегу тебя. Как всегда, буду сидеть у забытья твоего. Пусть сегодня оно будет спокойным и укрепляющим сном.

* Ривьера. (Без даты. — *Т. К.*)

Сколько раз отрекалась от покоя. Дерзко, по-молодому, не по-женски. Отрекась и он от меня. Навсегда, грубо. Вот так бросает то словно в шторм, то в напасти. Женщину со слабыми хрупкими руками и всевидящим неукротимым зрением. И штормы ли это? Чтобы хоть не зря, не за копейное, не напрасно так биться зрячками о камень. А впрочем, что если действительно дорогое?

Еду сейчас унижать себя тем, что останется непорочным только во мраке, припрятанное привычной улыбкой тысяч женщин от людского взгляда. Это будет обнажено, будет уязвлена гордость, буду слышать из собственных уст такое, что никогда не осмелилась бы сформулировать в мысль.

Литература.

Все литература. Страшно подумать, что люди, рождавшие эпохальные мысли, все же оставили их потомкам и выдавали их современникам в изувеченном состоянии, обтесанными со всех сторон, спереди и сзади, ради придания им исконно гладкой формы, единственно пригодной для зрения. А такого простого, такого жизненного, по своей ясности и солнечности — моей радости — не дождусь?

Снова, как когда-то, словно заклинаю на бумаге: будет, произойдет. И нет, и нет. И знаю, придет тогда, когда не будет сил, полных сил на такую радость.

Это же не так называемое женское мнение. Мне же дано много яркого и мрачного, и чем ярче первое, тем мрачней второе. Равновесие. И иду как маятник с крупным боем громовыми созвучиями. Я сильная. Я выдержу. Но уже время для радости. Она не должна опоздать. Ведь каждая женщина хотя бы раз в неделю бывает ребенком. Она же растит всегда в себе Его и от Него же через молоко в кровь свою вбирает эту хрупкость детских рук.

И радость не должна опоздать.

Ведь она может прийти поздно.

(Без даты. — *Т. К.*)

Море успокоилось. Еще дрожит как женщина после судорожных рыданий. Теперь нужны только мягкая рука, настоящая нежность, силы любви — и она улыбнется свежей, омытой болью, улыбкой.

Идем с морем к тишине. Пойдем с нами. Отблески заката еще окрашивают кусок горизонта. Бледнеют быстро, но я успеваю проследить угасание. Краски мрачней. Как глазам и душе нужна яркость.

Странно говорится у меня.

Я начинаю писать и думаю, что это тебе, а ты встаешь и слушаешь чутко, и тебе ближе и приятнее мой бред, и уже случайно брошенным словом я адресую его тебе. Нет, вернее, не случайно, а подсознательно и даже вопреки воле.

(...) В прошлом году, в Феодосии я писала тебе без боли, без напряжения, без остроты, и было покойно и пусто в душе. Я отдыхала по-животному, инстинктом жизненности будущей полноты. Я знаю, что возвращаюсь к прежнему и страшному, и неоправданному, и закрывала сердце, приучая его к одиночеству.

Как много дал хирургический нож.

Я обрываю эту мысль, Алесь, я не додумала еще ее. Если ты сумеешь правильно проследить эту нить — протяни ее мне. Да, сердце сейчас живет — оно залито кровью, но оно живое, мое, в него я вложу все мечты о подлинном настоящем кристалле.

Смешно?

Мне самой. Я ведь все равно собираюсь закрыть его наглухо.

Я пишу в темноте. Поэтому так стихийно выглядят строчки.

Приветствую.

Женя.

* 10.08.1938. Ленинград.

Как ты болишь мне, родной, непонятный человек! Писал тебе долго и много: не говорить не могу, а то, что хочу сказать, тебе не нужно. Но и врать перед страшной болью твоей не имею силы. Порез живой, он кровоточит, но ни излечить, ни срастить его мне невозможно.

И я живу. Будем жить. Садись возле меня. Среди других чужих я наиболее нетребовательный и сообразительный.

Под летним солнцем добыл силу. Как всегда готов отдать ее тебе. Помолчи. Спрячь в моих руках свои малые ладони. Пусть не болит голова, пусть успокоится тревожное, трепетное сердце.

Спи спокойно.

(Подпись)

29.09.1938.

Возвращался, и всплывшие мысли должны были составить письмо к тебе. Но в комнате оказалось неудобно, неприбрано, и я, по врожденной опрятности к слову, не могу сесть за бумагу в беспорядке, с грязными руками. И теперь после приборки думается бледно, очень умно, и становится скучно.

А слова твои лежат перед глазами, цветные, яркие, живые.

У тебя теперь совсем темно, и где-то внизу очень знакомый шорох — волна набегает на камни. Хотел написать — знакомый до боли, но поймал себя на том, что усиление нелепое, что бессмысленно делать жизнь болеутверждением и спорить таким образом с природой ее — радостью. Боль и смерть всегда к нашим услугам — только позови, жизнь дается однажды, и вернуть ее невозможно. И по этому поводу всплывают принц Датский и благородный идалго из Ламанчи. Рядком становятся полнокровный Кола Брюньон и веселый циник Рабле. Когда бакалавр пытался вылечить Дон Кихота от его одержимости, Антонио сказал: «Вы хотите лишить мир одного из самых прекрасных безумцев: философия этого прекрасного безумца — взгляд на жизнь как на представление: одни — короли, третьи — епископы, четвертые — рабы. Пьеса окончена, грим смыт, одежды сброшены, и остаются кости. Это представление в преломлении Санчо Панса выглядит так: шахматная доска, все фигуры имеют значение. Игра кончена, и они ложатся в ящик без рангов и порядка. Взгляд утомительно трезвый, но безошибочный. И это сильнейший довод в пользу жизни. Думаешь, парадоксально? Смотря глубоко — нет.

Не буду утомлять тебя рассуждениями. Я могу насочинять чепухи, думать некогда, поглощая огромное количество книг, философов, историков, думающих и умных людей. Какая-то труднообъяснимая жажда впитать как можно больше, чтобы через познание прийти к представлению. Когда я выяснил, что литература меня не трогает, то задумался: чего я хочу? Для чего учусь, читаю. Но так как научного мышления у меня нет, склонность обобщать и делать выводы отсутствует или во всяком случае развита низко, а вместо этого налицо остановка на острых углах и сбегах противоречий (результат — стихи), то я решил, что познание для меня средство к созданию образа, к более широкому и точному воспроизведению явления, характера, типа. И сейчас чтение надо бросить, пора посмотреть, что просочилось в сознание, что удержалось, что подлежит исключению. Я строю себя не в первый раз, но всегда из пепла. Печальный Феникс!

Когда-то в длинном письме писал к тебе, что мне нужно сделать в смысле усовершенствования. Работа растянулась, но не хватает уже немногого.

Лучшая, наиболее плодотворная половина жизни прошла. Осталось меньше. Надо быть расчетливее. А я ничего не сделал: не написал хорошей книги, не построил дома, не изобрел пороха. А внутренние возможности есть, но как ни печально, они характеризуются плоским словом «общая одаренность». Довольно общего, нужно дело, работа. Пора постигать изречения мудрецов о простоте и свободе ограничения. Вот это и есть то немного, чего мне не хватает. Улыбаешься. Я тоже. А хоть немного веришь? Смогу?

Пишу нудно, а посему буду пить чай и читать.

30. Утро.

Иду с тобой, с морем. Не задаю вопросов и не говорю фраз с частицами «если» и «бы». Мне очень трудно с тобой, но гораздо трудней без тебя. Слов твоих ждал весьма напряженно, каждый день. И мне уже ясно и радостно — ты живешь. Сильно больная, но выздоравливающая, тянущаяся к жизни, как во время скарлатины, когда просила есть. Два раза видел их такими, глаза твои, а образ настолько реален, что держится перед глазами, как на экране. Именно только глаза, и в глазах — помощи. Говорить — не могла.

А теперь уже у меня заходит солнце. Ровное, холодноватое. Гудят самолеты. Я опять оборвал письмо, прошел день, а вечер гонит к людям. Вернее, в театр. Хожу через день и с опаской думаю о времени, когда репертуар будет исчерпан. Правда, впереди еще Большой и концерты, но они дают меньше. К театру теперь приспособлен — хороший черный костюм и неограниченное количество воротников. В отпуск и отъезд собираюсь каждый день.

Пойдем на Арбат. К Вахтангову. Подумаем, поговорим. Да, хирургия единственно надежная область медицины. Более раннее вмешательство ее могло дать значительно лучшие результаты. Кроме того вывода, к которому пришла ты, этот вывод также беспорен. Додумывать за тебя боюсь, за себя додумал. Может быть, об этом скажет встреча.

Здоровей!

Приветствую тебя здоровьем.

Пиши! Не нужно ли тебе денег, сообщи.

1938. (Без точной даты. — *Т. К.*)

(...) В лесу красные, синие, желтые листья и много красивых коричневых желудей. Время для стихов, их нет, но я не жалею об этом. Последние стихи у меня игрушечные, а время требует другого. Да и стыдно играть, имея мозги с количеством извилин, достаточным для обобщений.

Живу однообразно, вижу случайные лица (...). И читаю, читаю...

Пошли мне кусочек моря, прозрачного, как письма, как мысли твои.

Да мне руку и еще раз — будь спокойна!

1938. (Без точной даты. — Т. К.)

Это вот мое, твое, наше время — оно требует только нивелировки личных, ставших лишними — лишних — свойств и нюансов существа, именуемого человек — и отдаленно его напоминающего, и еще широких больших обобщений, в которых опять тонет это беспомощное существо.

Поэтому бессмысленно кричать, просить, звать на помощь, рассказывать о своих ощущениях, о своих судорожных днях.

У меня разбита голова. Железом. И я улыбаюсь мысли о том, что, очевидно, это первый этап познания подлинной жизни.

Мельчаю. Я знаю, что мелка, но еще более явственно знаю, что, сделав тот единственный шаг, который определил и закрепил бы отход от мелочности, я пришла бы в тот тупик, где вместо, казалось бы, обретенной цельности я неизбежно становлюсь жалкой и, следовательно, вдвое мельче.

Тут можно говорить яснее, но требуется ли это?

Человек не только волк другому, но он и тигр себе, после того, как его отдали на растерзание собственным мыслям, инстинктам, тоске. Потому что беда тех, координирующих начал, которыми были бог, мораль, этика, культура, даже традиция бытовая, — их нет. Они сломаны, как клетки, в которых веками сидели звери, теперь вышедшие в толпу, на человека. А мы делаем вид, что счастливы, потому что жаловаться теперь некому, потому что ты именно тот кузнец, ковавший счастье и опаливший душу железом на пороге к нему.

Как же ходить по земле? С этим ли циничным скепсисом в ладони (?) на все позорящие тебя встречи и явления про запас. Для самоуспокоения. Или, отшвырнув его ногой, как засохший коровий помет, — взять курс на ту дорогу, где, оставаясь тигром себе, ты не будешь волком другому. И не только не будешь волком, а еще в меру той сокровенной сердцевины, которая от подлинного «homo», что-нибудь предотвратишь гибельное, чем-то ускоришь рождение яркое.

Пойдем этой дорогой.

Продолжение следует.

*Подготовила к печати
и перевела с белорусского письма,
отмеченные звездочкой,
Татьяна Куварина.*



«Всегда же со мною твой образ...»*

*Переписка Максима Лужанина
и Евгении Пфляумбаум*

7.10.1938. Москва.

Садись, поговори со мной. Отдохни от своих мыслей. Цветут липы. Липень. Месяцу немного скучновато смотреть на землю, на эту простую зеленую скамью Гоголевского бульвара. Он стар и чрезмерно заражен скепсисом, гораздо больше, чем эти старые деревья и Гоголь, который для ребят, устраивающих веселые игры у подножия, не больше чем удобная игрушка.

Мне трудно говорить именно потому, что слова глохнут от страшной боли твоей, против которой, вернее, против ширины ее, нет как будто возражений, нет достаточно ярких и прямых опровержений возможности ее существования.

Июль начинается таким, как помнит его детство: солнечным, густым, пахучим, ярким. Теперь наливаются рожь, и девушки гадают на колосьях о любимых. Очень хорошо пробежаться босыми ногами по росному саду, посидеть вечером с пряным запахом опьяняющих копен сена. Где-то уже повернулись к солнцу краснеющими бочками вишни, и у изб пахнет мятой и огуречной зеленью. В это время деревни спят — сон спокоен, тих, радостен: день был полон усталостью и трудом. Жизнь дышит спокойно, ровно. Если теперь пройти к лугам за старыми вербами — выдаст себя негромким журчанием река. В темных заводях тихо. Плещутся тяжелые сомы — завтра будет ведро. Все это можно почувствовать и на Гоголевском бульваре. Мысли, несколько несвойственные москвичу, в меру одинокому, в меру довольному и в меру работающему. Работа — это хорошо. Будь она несколько веселее, скажем, если бы случались разезды — было бы совсем недурно. Это — сегодня. А завтра? Завтра определяется чувством, сознанием необходимости существования, оправдываемого тем, что работа твоя «песчинки малой» сливается в гармоничное целое с усилиями строящегося и возводящего мир коллектива.

Да здравствует завтра! Жизнь страны такова, что завтра лучше и шире, чем сегодня. Это и есть в каждом дне роста, перехода в новое.

Слова твои. Отрывки мыслей. И желания. Очень ярко и очень больно. Я многого не понимаю. Это не нужно тебе. Но я знаю, что ты выздоравливаешь. Я редко тебя вижу, редко говорю с тобой. Даже через провода. Почему? Бегу, боюсь боли для себя? Нет. Пока будет твоя боль, мне будет больно, даже если ты не покажешь ее. Хорошо знаю боль и потому чувствую минуты, когда тебе тяжело. Видно, даже тогда, когда тебе просто нужно чье-нибудь присутствие, безотносительно, как ты говоришь, — даже тогда я самый нежелательный собеседник. Это явствует из нашего «кухонного» разговора. Поэтому лучше говорить через бумагу: она отражает то, что есть сегодня, не напоминая ни обширного тяжелого, ни крупинок хорошего.

Да, ты выздоравливаешь. В листах, исписанных твоей рукою, я чувствую это. И нужно выздороветь физически. Тогда все, что кажется сейчас недостижимым,

* Окончание. Начало в № 6, 2011 г.

незаконным, «ограниченным координатами», как говоришь, встанет перед тобой единственно настоящим, и человек, который будет около тебя, как ты хочешь, будет дорогим.

Я говорил тебе о своем состоянии. Оно пришло не просто, я добился прежде всего здоровья, упорным лечением, наблюдением, я сбросил все мучавшие недуги, и тогда душу, оказалось, легче привести в порядок. Еще несколько месяцев на ремонт легких, и я буду совсем здоров.

Говоря откровенно, без помощи людской я не обошелся. Но я не искал ее. Просто есть люди, хорошо понимающие и правильно реагирующие на меня, хотя бы вниманием. Ты этого, конечно, не лишена. И цветы — признак этого внимания — это не похороны. Я рад, что их у тебя много. У меня они не живут, но когда они свежи — можно разговаривать, как с живыми. Это очень яркая частица жизни.

Чаще думай на бумаге. Если сможешь — отдавай мне. Тебе будет легче. Только не молчи. Молчание черно и безрадостно. Всякое слово ведет к жизни: хорошее — прямо, тяжелое — через отрешение. (...)

Доверие. Искренность. Напрасно и в разговоре, и в листах ты думаешь, что я это могу дать всякой женщине. Правильно, я отношусь к этой категории людей несколько внимательнее и лучше, чем другие мои собратья по полу, хотя и не высказываю это в словах, не показываю в поступках. Но пожелать то, что я сказал тебе, — каждой — не смогу. Я хочу тебе здоровья и радости более настойчиво, чем себе. Они тебе нужнее, ты глубже, шире, полнее воспринимаешь все, и потому тебе больнее.

В моем понимании тебя, в отношении к тебе было много острых углов и граней, резких переходов к самым неоднородным чувствам. Я их выплакал последней слезой в тот день, когда вместе уходили из разрушенной комнаты, чтобы никогда вместе не вернуться в нее. Ведь прожито вместе было так много, что даже самые тяжелые слова, которые говорились, казались маленькими, не могущими

оставить следа. А когда слова уже стали реальным фактом, дороги ясно разветвились — упала та последняя слеза. И отношение к тебе стало совсем ясным, до боли четким: где бы Она ни была, как бы Она ко мне ни отнеслась — все равно, ничто не может поколебать хорошего, только хорошего желаю Ей, как и она всю жизнь шла ко мне с хорошим.

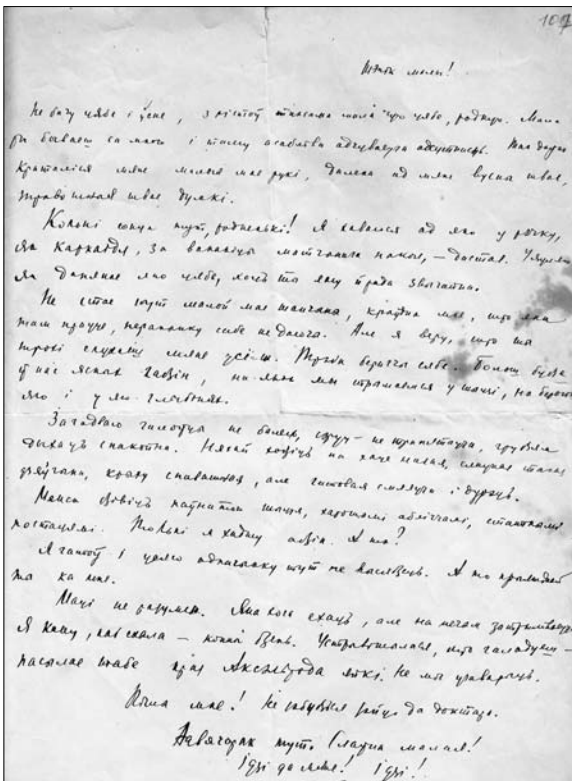
Это то, на что я тебе не ответил. Как видишь, никому другому этого сказать нельзя.

Опять прошла ночь. И бульварная скамья сменилась креслом в моем случайном антиквариате.

Наступающий день лучше вчерашнего. Пусть он даст тебе силу и поможет уйти из одиночества.

Москва еще спит. Человек с этим замечательным словом не может быть одиноким. Это так! Проснись и посмотри за окошко:

Как много солнца! Как хороша жизнь!



Письмо Максима Лужанина.

(Подпись)

Вагон. 9 ч. 30 м.

Боишься, что «может плохо получиться». Пусть получится так, как должно получиться. Я этого «не боюсь».

Если я смотрела только на тебя из окна вот этого вагона, в котором мне больно уже в тысячный раз, ты думаешь, ты смеешь думать, что в том взгляде было желание — больше — боязливая надежда найти оправдание? (Это так — ты не ответил тем взглядом, который нужен был мне.)

Нет, мне только страстно хотелось снять с твоих, еще неизменно близких мне глаз эту пелену боли. Я слишком хорошо знаю ее цвет и глубину, я не снимала ее в течение трех первых лет «нашего». Я захлебывалась в этой боли. Это страшно даже в воспоминании. Хочешь, я скажу тебе — я любила тебя так широко, что не хватало дыхания, и каждая твоя даже незначущая улыбка, обращенная не ко мне, каждый твой взгляд или мысль в сторону про-

шлого ломали у меня сердце, желания, жизнь. И все же я знала, что это так ярко, что близко к настоящему счастью, вернее — я называла это счастьем.

Я знала и тогда, как знаю и теперь, — такое неповторимо.

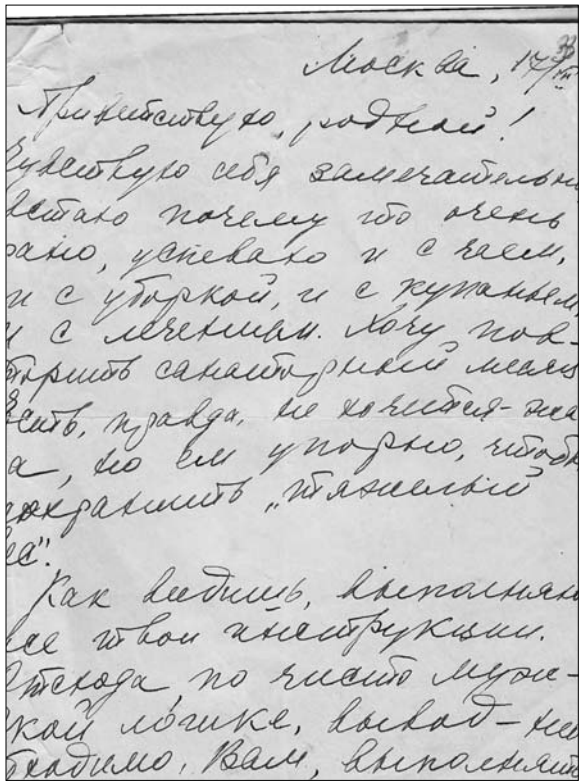
Я ни в чем не обвиняю тебя. Возможно, мы сломали эту большую ценность совместными усилиями. Но и теперь я не хочу для тебя боли, мне тревожно за тебя всегда.

Ты скажешь, ты подумаешь — зачем же я причиняю эту боль, зачем «мана»?

Мне для самой себя нечего скрывать. Я говорила тебе неоднократно, как мало мне того, как скупо мне дано от яркого, от нужного мне, от необходимого для того, чтобы хоть в какой-нибудь степени оправдать передвижения изо дня в день.

Ты очень изменился, Аль мой. Ты внес в мою жизнь новую «мелочную» боль, которую нельзя оправдать стихийностью тех первых лет, которая, наоборот, опровергает, ломает, низводит к обычному, заурядному это неповторимое. Я не всегда — или даже не слишком часто, реагировала, по-женски непоследовательно, неумно, на него, потом стала спокойнее, тише, привыкла, думала сделать все это приемлемым для себя. Не вышло. (...) Надламывала жизнь встречных, не буквально — встречных. Ты много молчал. О чем думал ты — я не знала. Ожесточенность росла. Я внутренне осмысливала десятки раз, взвешенно, проанализированно знала, что я права, что ты не дорожишь мной, нашим, что я для тебя только не совсем удачная, беспокойная жена, не внесшая ни уюта, ни ребячьего смеха в твои дни. Ты не слышал боли в моих словах с этим содержанием. Я уходила все дальше от тебя, никуда, ни к кому, в себя, в свое одиночество без слез. Я ожесточилась.

Одно из чувств, внушенных мною в это время, оказалось неожиданно глубоким, дружеским. Я не верила в это, не верю и теперь, вернее, потому что не нужно оно мне, как чувство. Но когда я увидела тут ту же пелену боли, с которой жила я



Письмо Евгении Пфляумбаум.

когда-то даже во сне, — я не могла отказать человеку в простом дружеском слове, по-честному оговорив бесперспективность мыслей обо мне как о женщине.

Я не буду говорить о дикости последних дней. Я скажу о «мане». Что думаешь ты, Алесь? Цель ее? Сохранить мужа? Ты согласишься, что такая мысль абсурдна. Обмануть самое себя во внутреннем. Нет. Я проверила себя.

Только избавить тебя от необоснованной боли, от ненужной, никому ненужной тревоги.

Напиши мне, может быть, все это опять не так. Я не хочу твоей боли даже в качестве компенсации.

Женя.

1938. Минск, утро.

Завидую твоему созерцательному состоянию. Приветствую тебя с ним, если оно подлинное. Не совсем хочу для себя такого. Не думаю также, что это твое состояние — результат переоценки ценностей. В который раз они переоцениваются?

«Разбившееся» — то же фиксирование твоей биографии; от лица своей вношу поправку — не достигши нужной высоты (не по плечу, очевидно).

Для себя фиксирую новую остроту ожидания твоего слова.

Женя.

Минск. (Без даты. — *Т. К.*)

Тревожно. Не знаю, чем вызвана тревога. Живу по-прежнему как во сне. Но во сне не живу ничем. Ты молчишь. Что несуществующее ищешь ты?

И чем больше нарушено твое спокойствие, тем дороже оно.

Кто-то должен потерять ожесточение в этой борьбе. Женщина? Не знаю еще.

Сегодня есть солнце — случайное, неустойчивое. Нужно удержать его до отъезда.

Не туда я приехала.

Женя.

(Без даты. Рукой писателя уже позже помечено 38—39. — *Т. К.*)

Очень ждал вестей от тебя, хотел написать что-то очень нужное, хорошее, правдивое и о себе, и о тебе, а сейчас потерялся. Может быть, напряженное твое письмо, может быть, сам я сейчас нехорош. С утра у меня было 37,3, но работать пошел. Не могу лежать. Горло болит, и еще какая-то дрянь!

Обстановка твоя меня устраивает, но состояние пугает. Напиши, от чего тебя лечат, сколько ты вешишь?

Радуйся солнцу, Жень! Пройди по росе за ним, за утром, в лес, во мрак, в радость пробуждения. Сделай это и за меня.

Шлю тебе книгу.

Напишу снова, это письмо результат очень тяжелой головы. Может, тебе подослать съестного?

Жму твою лапу.

(Подпись)

1.06.1939.

Сразу два письма, и мне хорошо с ними. (...) 29-го мои недуги закончились, и я решил вечер и день отдыхать совсем. Спал в большой комнате с окошком на озеро и тополями, назойливыми, как любящие собачонки. Они стучались днем, стучались вечером, стучались ночью. И я не мог отказать себе в удовольствии, гладил эту свирепую зелень и разговаривал с ними почти как с живыми.

Днем рвал в лесу рябину, ландыши и дикую яблоню. Было очень весело, просто и хорошо, так как цветки на клумбе, как деревья в лесу, и я подумал, что,

очевидно, в самом деле, молодость сердца понятие не возрастное. Кто не умеет работать, тот не понимает отдыха. Не понимал этого и я раньше, а теперь знаю, что мои смешные реакции на пение птиц, на небо, на одуванчик — это законное и нужное. В общем, понемногу впадаю в детство.

Отдохнул, а теперь опять сию вечерами. (...)

Кажется, ты крепнешь, Жень! Рад, крепко жму тебе руку. Отдыхай за себя и за меня тоже отдохни. А я, кажется, смогу уступить тебе свой месяц. Мне он, видимо, пригодится.

Желаю здоровья!

(Подпись)

26.06. (Год не помечен. — Т. К.).

Дождь становится нудным. Он совсем не похож на тот, который работал, как дровосек у Тихонова. Тот был хороший, молодой дождь, а этот — брюзга, человечишка в фуляре, ворчащий на молодость, зелень, на солнце.

Теперь с улыбкой смотрится вслед молодости. Очевидно, потому, что прожита большая половина жизни.

Немного подобрал работу. Жалею вечеров, в которые можно читать или просто дышать воздухом.

Стараюсь отдыхать, и когда выводит из терпения дождь — иду в театр. Кажется, это становится манией. И не пьесы, а игра. Пробую «исполнять». Занятно, но минута перед поднятием занавеса, лак и клей за кулисами, сладковатый запах грима в уборных — все это как трубы для живого коня. Дело доходит до того, что хожу один, даже не в мужской компании.

Это мое безалаберное житие. С 13-го будут свободные утра — в редакции ремонт, и мы «распускаемся» работать по домам. Другой работой загружаться не буду — купаться, ездить в Новый Иерусалим и все.

Хочу думать, что ухудшение твое было случайным и сейчас ты чувствуешь себя лучше.

Вижу тебя здоровой. У нас еще много впереди.

Будь здорова!

Привет твоим соснам, реке, ландышам.

Привет тебе.

15.02.1940. Горький.

Очевидно, летом это очень хорошо.

Четвертый этаж. За широкой дверью — балкон. А внизу Волга. Сегодня — был густой туман — снег исчез, и на пустом Заволжье угадалась стальная полоска воды. Почему-то почувствовал себя в городе совсем на месте. Уверяю тебя, что «литературность» его ни при чем. Значительно позже я вспомнил о Короленко, Шевченко, Горьком. Уже войдя в город, как в давно знакомый дом, где по-своему расставлены шкафы, столы и стулья.

Тебе бы понравились и город, и комната. Из-под зеленой занавески смотрит какая-то лукавая, тоже зеленая звезда. Это сейчас. Три часа тому назад заходило солнце, и в этом окошке оно и выходило. Вопреки всем законам.

С удовольствием слушаю какую-то музыку из Москвы. Смягчается расстояние. Эти слова произнесены случайно. В моей «наоборотной» жизни время и расстояние — факторы усугубляющие. И так как я ступил на опасную дорожку, угрожающую «мелкой философией на глубоких местах», то давай пойдем хотя бы в кино или просто посидим на берегу. Смотря на росу, на ступени, на ветки черных лип, сразу вспоминаю «Грозу». И жду цветного платка на тревожных плечах и перепуганных глаз.

Жаль, что много читалось. Печально приходиться к вещам, явлениям, местам с грузом знаний и образов. А не будь их, можешь оказаться гаринским «Гением», самостоятельно додумавшимся до дифференциального счисления.

Куда как нескладна судьба! Что ты думаешь сейчас? После холодного дня горят щеки и болит голова. И, очевидно, — по крайней мере, полдесятка ненужных посетителей.

Уходи от них! Тут у меня тепло, свет мягок. Под ладонью утихнет голова, уймется сердце. Я покараулю твой сон. Спи!

21.08.1941.

Как живешь, почему молчишь? Я уже довольно давно написал тебе, ждал Алексея, но ни письма, ни братца вашего не видать. Живу хорошо, здоровье отличное, погода хороша. Что слышно у тебя? Если Алексей еще не двинулся из Москвы и поедет в нашу часть, пусть захватит для меня кроме табаку мозолин и пиретрум.

Передай привет маме и Владимиру Рафаиловичу. Жму руку Алексею.

5.09.1941.

Спасибо за весточку. На первое письмо ответил двумя открытками. Чувствую себя хорошо, здоров. Давай так и будем продолжать: работать и быть здоровыми. А когда прикончим войну, можно позволить себе грипп или насморк. Я уже писал тебе, что ни денег, ни посылки мне не надо. Разве поедет Алексей, пусть захватит папиросной бумаги и табаку. Пиши о себе.

Привет Алексею и старикам.

2.10.1941.

Привет, Женя!

Прости, что ограничиваюсь открыткой, освобожусь — буду писать длиннющие письма. (...)

(Подпись)

5.10.1941. Москва.

Уже беспокоит молчание и твое, и Алексея.

Ты собирался написать, когда выслать тебе сапоги и свитер. Я все приготовила — есть и бумага, и папиросы. Для ускорения, если останешься на месте, — дай телеграмму — я постараюсь привезти.

В Москве все хорошо — спокойно живется и много работается. Завтра получу часть твоих денег — сколько, не знаю. Напиши, что с ними делать.

Как всегда, здорова.

Как ты? Нужно бы слышать, видеть. Пиши, что еще необходимо прислать. В Москве все есть.

А позвонить ты не можешь? Мой новый номер (...).

Будь здоров, родной. Женя.

8.11.1941.

Второй день идет снег — теперь уж, как видно, надолго — и в костях какая-то ноющая усталость. Заболею? Нет, не сдамся, хотя ходить очень трудно. Сейчас отказался от ужина, кино, концерта, пью горячую воду и пробую высказаться, поговорить с тобой. Разговор этот уже предполагается третий день, но 6-го я был только с дороги, 7-го — мылся, чистился и прочее, а 8-го попробуем говорить, Женя. Как коротка человеческая память! Вот никак не могу вспомнить, что делал я в эти дни год тому назад. Правда, они походили друг на друга, эти дни, и никак на те, которые протекают сейчас. Вот этих, теперешних, дней я никогда уж не забуду, и если когда-нибудь удастся собраться в каком-либо милом помещении, вроде твоей кухни, вспомним, поговорим. За две недели от нашего очень короткого разговора утекло очень много воды, крови и пота. Я прошел по целому ряду русских городов (друг дружки древнее): Покров, Владимир, Суздаль. А теперь Иваново — наш Манчестер. Я не бывал здесь прежде — вообще город симпа-

тичный, театр грандиозен, неплохой трамвай, сносные дома, хотя и не вполне понятной архитектуры. Как вообще и как долго буду здесь, определить трудно, во всяком случае, письмами обменяться успеем.

Да, хотелось бы в Москву, хотя бы ненадолго. В эту самую твою кухню с полным ансамблем лиц, появлявшихся по воскресеньям. Хотелось бы сидеть рядом с тобой, долго по-хорошему говорить. Чем-то очень хорошим дохнуло от коротенькой нашей встречи у ворот. С этим дыханием я ушел и унес его сюда, да так вот и живу с ним. Не знаю, как расценивать вот это смятение, да это, пожалуй, не нужно. Хотя все хорошее обычно дорого, но еще лучше, если оно не имеет цены. Ты качаешь головой и говоришь, что я, по обыкновению, все чрезмерно усложняю, путаю и загуманиваю, что ж, еще раз принимаю сей упрек.

Расскажи мне, Жень, о себе. Я давно не слышал тебя. Обидно, что из твоих приездov на мою долю пришлось только пять минут. Пять коротеньких подлых минут.

Пиши мне чаще, больше. Как только вздумаешь.

Жду.

Жму, целую тебе лапу.

(Подпись)

Иваново, почтовый ящик 121, литер 2/8.

1941. (Без даты. — *Т. К.*)

Недавно писал тебе, но выпала минутка — почему бы не поговорить со старым товарищем.

Как живешь? (...)

Самочувствие несколько улучшилось. Очевидно, у меня было сильное переутомление, несколько дней неполной нагрузки и усиленное питание приводят в норму. Правда, похудел я на 12 кг, но врачи говорят, что это от нормального образа жизни.

Морозы начались рановато. Переносу их мужественно, хотя и чувствую, особенно руки. Неважно, мы мороз выдержим, а вот немец должен подохнуть.

Перелистывал Тарле и нашел, что Наполеон называл немцев подлой нацией, не имеющей права на существование. Хотя это и пересол, но я согласен.

Что делаешь, Жень? Работенка, небось, редко встречается. Миша Пилецкий — начальник цеха на заводе, может быть, он что-нибудь сделает для тебя. Это приятель и неплохой парень (...). Здесь большой спрос на счетных работников — к сожалению, не твое амплуа.

Живу не очень громко, но неплохо.

Передай всем привет.

Жму тебе лапу.

(Подпись)

1941. (Без даты. — *Т. К.*)

Сегодня театр, вернее, концерт. Самое лучшее — здание, большое, светлое, вроде зала Чайковского. Пожалуй, соврал, хороши были несколько отрывков из Чайковского и Штрауса. От музыки несколько опьянел и даже терпеливо переносил конференсье. Где ты бываешь вечерами? Как театр? Музыка?

В дороге не заметил, что мы с тобой опять постарели на год. Хотел отметить это телеграммой, да не представилось возможности. Может быть, удастся отметить при встрече. (...)

Как идет время! Пять месяцев войны, три месяца я в армии, месяц уже тебя не видел. Когда увижу? Хотелось бы встретиться в Москве. Сколько любви и нежности у меня к этому городу. Самое лучшее — Москва. Если упоминается это золотое Имя — сразу становится тепло и светло.

Так что давай встретимся в Москве. (...)

Ну, желаю добра.

(Подпись)



Максим Лужанин. 1942 г.

9.12.1941.

Ты как-то написала: «Перед глазами проходят жизни — твоя и моя». Это запомнилось мне. И когда я обратился к прошлому, то оказалось, что в жизни (и соответственно в сердце и памяти) — пустой и мутный провал. Ряд пустых бессодержательных лет, заполненных работой до одури, периодами опьянения и какими-то лицами, совершенно не удержавшимися в памяти. Поверхностная, пустая жизнь, желание в чем-то забыть себя, в чем-то сломать, отойти на какие-то запасные пункты.

На природе иногда всплывал освященный островок прошлого, и на нем — ты. И вот в Подольске в эти короткие пять минут, пока мы говорили, далекий этот островок дрогнул и приблизился ко мне вплотную. Показалось, что провала нет. И я был буквально счастлив, прочтя у тебя подобные чувства. Это очевидно то же, о чем сказала мне однажды: «Кажется, мы только приехали в Москву, и ничего не было». Тогда я до этого не дорос. Сожалею.

Жму тебе руку, приветствую самым лучшим, бесконечно родная.

(Подпись)

Уже взялся за конверт, когда принесли твое письмо от 1.12. Ожидание несколько разрядилось. Какая радость этот маленький клочок бумаги в огромном конверте! И ждал его вот уже десять дней. Может быть, твои письма пропадают. Как это ни печально, все же пиши.

Шлю привет всем, и маме, и всему семейству Алексея (...).

13.12.1941.

(...) Сегодня хорошие вести с фронтов. Немец, оказывается, умеет неплохо бегать, еще через некоторое время он наберет темпы бега назад еще более резвые. (...)

20.12.1941.

Давно не писал тебе, да и ты давненько. (...) До Нового года осталась одна декада — начинают увеличиваться дни, хотя по утрам, когда я начинаю день, еще темно. Хожу на лыжах, пренебрегая неудобствами мороза. Надо бы работать еще крепче, чтобы сильнее и побыстрее раздавить гадину, уже начинающую опускать голову и откатываться. Самочувствие вполне приличное, а уши в следующем состоянии: одно — нормальное, а другое немного хромает, но его еще подремонтируют, и я буду слышать совсем хорошо. (...)

В письме ты писала о желании приехать. Предостерегаю еще раз — воздержись. Дорога очень трудна, денег у тебя нет, приюта по приезду также. Кроме всего прочего, времени у меня так мало, что мы можем не увидеться или увидеться на час-два. Иногда я бываю свободен в выходные, но это не правило. Учти все это и сиди на месте. (...)

С Новым годом! Письмо придет как раз к этой дате. Будем ждать. Надеяться и по мере сил делать все, чтобы наш Новый год прошел в родных свободных, ярко освещенных городах!

Жму твою руку.

(Подпись)

1942. (Без даты. — Т. К.)

Ровно 12. Здравствуй, Жень, здравствуй! Как бы я хотел сейчас увидеть тебя, родная. Пройти по морозцу, а потом по-хорошему посидеть в тепле с людьми, с винишком. Это такое ясное желание, такое непреодолимое, что я почти явно различаю тебя и совсем близко вижу, хорошую, родную.

Старик (а я опять постарел на год — уже разворачивается мой 33-й год — заметь) вернулся домой и хотел было, почитав Леонова, уснуть, а потом устыдился и пошел с молодежью на еще один вечер. Пока молодежь прихорашивается, я, обнаружив в комнате чернила, решил послать тебе пару слов. Пусть они дойдут до тебя сейчас. Пусть скажут обо всем хорошем, что у меня к тебе, прямо в глаза, без лишних и обходных слов.

Приветствую твою бодрость. (...)

А немцы-то бегут! Видней, какие они непобедимые.

Ну, привет!

1942. (Без даты. — Т. К.)

Родной мой Аль!

А я все ждала телеграммы, чтобы приехать увидеть тебя.

Только сейчас вот позвонили мне от тебя. Я даже толком не знаю кто. Он сообщил мне, что вы движетесь вперед. Может быть, через Москву.

Сразу как-то заохлодало вокруг.

Ты ему дал почему-то неправильный телефон, и два дня он не мог дозвониться мне.

Алесь, мой дорогой хлопчик, как нам нужно увидеться.

Я попросила его передать тебе теплые вещи — он считает, что это слишком рано. Ну, хотя бы свитер.

Прости меня за хаос этих строчек. Я как-то растерялась, потому что привыкла к мысли о том, что скоро увижу тебя.

Алесь, я хочу обнять тебя крепко-крепко и никому не отдать — ни нездоровью, ни горю, ни мраку, ни одиночеству, ни чужому человеку.

Женя.

29.01.1942.

Зима меняет одежду. Сегодня вместо сияющей яркости января грязноватое февральское утро. Поддувает ветерок, поддеваю свитерок; луна на ущербе, значит, нужно ждать метелицу. День так и не состоялся — остался сереньким, нерешительным, выжидающим. Он топтался на одной ноге у дверей магазинов, летел за тяжелыми вороньими крыльями, падал срывающимися с деревьев хлопьями снега. И дымок из труб шел ленивый, совсем не такой, как сутки тому назад. Тогда бодрая струйка поднималась прямо кверху и таяла в голубизне. А вчера вечером ходил на лыжах — впечатление феерии: голубоватый месяц, крупные звезды и зеленый снег. Возвращаться не хотелось. Скольжение захватывало, скорость требовала: еще и еще вперед...

Очень хорошо!

Как живешь, Жень? Мерзнешь? Самая тяжелая половина зимы прошла. Правда, впереди еще ветры и метели, но этого ты не заметишь.

Скоро, очевидно, буду двигаться отсюда. Время. Мои приятели уже много раз побывали в боях, а я все еще не нюхал порошу. Через месяц-два двинусь. Может, тогда удастся заехать в Москву. Вот уж поговорим и вдоволь походим по нашим хорошим улицам: по Арбату, по бульварам, по Тверской...

Жень, хороший мой! Как нужно повидать тебя.

Целую лапу.

(Подпись)

15.02.1942.

Я так много думаю о нашей встрече, что, когда она, наконец, состоится, наверное, не смогу вымолвить и слова. Так вот, Женик. Что мне сделать, чтобы тебе стало хоть немного теплей? Такая злая удалась зима, что вот сейчас не хочет еще сдаваться. А я через пургу, которую начал февраль, вижу проталины с первыми подснежниками. Тороплю весну. Хочу весны яркой, солнечной и радостной, весны освобождения всей нашей страны, весны нашей с тобой встречи. Я уже писал тебе, что в конце марта буду уезжать из Иванова. Думаю, что маршрут мой пройдет через Москву и, само собой разумеется, через Смоленский бульвар или любой пункт, откуда подашь голос. А голос подаешь очень редко. Почему так редко пишешь мне? Ты не смотри на меня. День мой забит так плотно, что вырвать время на открытку и то трудновато, письмо же можно написать только в выходной. Зябнут руки тебе, родная? Дай их мне! Я перецелую их, согрею дыханием, спрячу на груди.

Здоров. И совсем не обморожен. Ты это сочиняешь. Кончик носа уже отошел, отходил его гусиным салом. Увидишь Алексея и стариков — приветствуй.

Пиши.

(Подпись)

24.02.1942.

Кто-то из поэтов сказал, что «чем продолжительней молчание, тем удивительнее речь». Видно, тебе эти строчки пришлись по сердцу, и ты молчишь, молчишь. А я все жду. Жду сегодня, завтра, утром, вечером. Жду слов, надеюсь увидеть, чтобы хоть немножко понять, снова рассмотреть тебя, хорошую, родную.

Покажись мне, Жень, этим февральским вечером, пройди здесь, около меня. Не хочешь? В один из этих дней на улице женская походка напомнила тебя. И захотелось почему-то увидеть тебя в нашей простой русской шинельке. Тебе когда-то нравилась мужская одежка — мои пиджаки и галстуки, может быть, подошла бы и шинель. Радует приближение весны. На одном из углов от костра, которым отогревали команду, снег протаял до камней, обнажив желтую солому, какую-то труху и мусор. Почему-то это обрадовало, вспомнились строчки: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Растут ли у тебя стихи? За это время у меня появилось сотни две строчек. Правда, прочесть и переписать их я не успеваю, но все же не могу отказаться от того, чтобы отгонять их от себя.

Вот мое житьишко. Здоров. И только ничего не знаю, ничего не слышу от тебя. Почему? Одно время они приходили часто, парами, и мне радостно было смотреть, вдумываться, перечитывать. Впрочем, довольно. Стабилизировалась ли твоя работа?

Очевидно, издательства начинают понемногу оживать. Интересно, как поживает мое. Позвони (...) Алексею Григорьевичу Галдину, передай ему привет, может, у него найдется работа. Парень он добрый. Если по этому номеру не найдешь, звони домой (...). Постарайся найти его, у него всегда бывает работа. Жаль, что не вспомнил об этом раньше.

Будь здорова, Жень! Хороших дней тебе.

(Подпись)

28.02.1942.

Суббота. В этот день, как всегда, разговор с тобой. К сожалению, разговор наподобие телефонного, когда кричишь в трубку и ничего не слышишь в ответ. Думаю, что молчанье твое просто какая-нибудь задержка, случайность, и во всяком случае, не злой умысел с твоей стороны. Однако это слабое утешение нисколько не снижает напряжения, с каким я жду твоих слов. Жду, Жень! Жду, пока пусть придут слова, а потом кто-нибудь из нас постучится в дверь к другому, чтобы, как говоришь ты, никуда больше не уходить.

Читал стихи Мопассана. Первый раз в жизни. Они похожи на рассказы, только ярче, потому что еще короче. Из них узнал, что поцелуи могут стареть,

и это неожиданно не понравилось. Стареть вообще не хочется, поэтому гоню прочь все признаки этой непрошеной гостьи — усталость, лень. Волос седых не видно — волосы стригу коротко.

И опять зову тебя — где ты, отзовись!

Пока не будет в руках листочка с твоими словами — толковое письмо не получится.

Привет.

(Подпись)

1.03.1942.

Жень! Золотой мой Жень! После долгих дней ожидания твои строчки снова лежат передо мной. Теперь можно смотреть на них и говорить с тобою ровнее, спокойнее. Правда, само письмишко не очень спокойное и состояние у тебя весьма незавидное, но пока я по-мальчишечьи, совсем эгоистично, рад этим строчкам, простому присутствию их. Все происходит оттого, что мне сильно нужно повидать тебя. Такого чувства не было давно, хоть и всегда, даже при обычной встрече, ждал тебя напряженно, волнуясь и нервничая. Теперь все это возведено в некоторую степень, а ты должна знать, что я стал значительно ровнее, спокойнее — нервы отдохнули, и я кажусь себе гораздо более сильным. А поэтому не обращай внимания на несколько растрепанные письма: жду твоих слов, жду встречи, жду живого слова от тебя. Вот попаду в Москву, возьму тебя за лапу и потащу прямо на Арбат, пройдем эту улицу, а потом сядем и будем говорить, говорить.

Ты здорова, Жень? Отвечай мне прямо, нужно говорить обо всем прямо. Хорошо, что начинаешь работать. Несколько месяцев вынужденного безделья порядком выбили тебя и из здоровья, и самочувствия. Может быть, теперь это начнет понемногу налаживаться.

Теперь к истории о табаке. Сие поганое зелье ко мне и не попало по вине толстого подлеца Мишки, который все скурил. И я был здорово разочарован, когда получил только свитер и перчатки. Что Мишка свинья, это известно, но что свинья до такой степени, чтобы несколько раз брать табак и все обращать на себя, этого я не ожидал. Поэтому обмакни веник в грязное ведро и выгони за дверь этого толстого дьявола. Очевидно, он опять являлся вымогать табак, т. к. 20.02. собирался заехать в Иваново один наш общий знакомый, который должен побывать у меня. Так вот поступи с этим слоном как тебе приказано. Я уже писал, благодарил за перчатки и джемпер и жаловался на Мишку, но тогда я не знал, что передавала табак неоднократно. Это, конечно, безобразие, и мне очень обидно, что ты прикладывала усилия, чтобы доставать это несчастное курево. Между прочим, в первых числах февраля к тебе должен был зайти мой сотоварищ. Он сказал, что дома тебя не застал, по телефону дозвониться не мог. Может быть, и этот увез табак для меня? Напиши.

Впрочем, довольно об этом. Ты должна быть спокойнее. Я говорю с тобой очень прямо, и ты слушай эти слова. Не ищи встреч, ездить в Ленинскую академию не надо. Ничего это не даст: я тебе все могу рассказать, если захочешь, если скажешь. Писать, правда, не хочется, лучше так говорить.

Будь здорова, Жень. Пиши, пиши мне.

Жму, целую лапу.

(Подпись)

4.03.1942.

Как раз в тот момент, когда нужно было новое слово от тебя, оно пришло. Здравствуй, Жень, здравствуй, хоть уже довольно поздний вечер и ты, наверное, собираешься спать. (...)

Я рад твоим словам, рад встрече с тобой, отпирай дверь, и мы будем говорить. Впервые за эти годы я так легко и просто говорю с тобой. Не потому, что

ушла боль, напряженность, нет. Может быть, для преодоления их еще и потребуются усилия. Но мое, весь внутренний строй сердца, обращается сейчас к тебе с более чистым и высоким звучанием, чем когда-либо. Вот осенью мы с тобой стали старше на год. Это печально, — лишние седые волосы, лишние морщинки. Но одновременно это очень хорошо: глаз видит дальше, голос звучит увереннее, рука становится тверже. Это ведь то время, которое было знакомо лишь по книгам и которое называется зрелость. Новая фаза жизни. Наиболее эффективная, ясная и прямая. Она свободна от мальчишеской романтики и не стала приторной от искаженных восприятий, навязываемых старостью.

Давай руку, родная! Попробуем лучше прожить, больше сделать в это единственное время. Работали мы с тобой всегда много и хорошо. Надеюсь работать лучше. А когда ты устанешь, станет тебе тоскливо в большой, холодной квартире, ты тихонько позови меня. Я услышу и тотчас приду к тебе. Если не сам, то пришлю слово, книгу, воспоминание.

Одним словом, от меня просто не отделаешься. И не пытайся. Так тебе и суждено всю жизнь... Не отказывайся, запрещаю, пусть тебе и не улыбается эта перспектива.

Больше мне рассказывай о себе. Тебе надоел, наверное, поток моих слов, требующих ответного слова. Не отказывай мне в нем, ты прислала мне много тепла зимой. Не забывай, что теперь еще март. А он, подлый, и метет, и морозит. Значит, писать мне надо много и часто. Слышишь?

(...)

Будь же здорова, спокойна и бодра.

Позволь мне обнять тебя, пожать твою руку.

(Подпись)

16.03.1942.

Вот какой он, март! Форменный обманщик. Поманил, подразнил теплом, а теперь угощает метелицами, огромными заносами, да и морозцем с совсем не мартовским характером. Вот сегодня, поутру, он начал основательно щипаться и хулиганить и только к двенадцати часам сдвинулся, заплакал, отходя на знакомый нам Север. А первая декада была по-хорошему теплой.

Видишь, как много я болтаю чепухи. Все это происходит потому, что ты мне не пишешь, не знаешь, как нужны твои слова и как тоскливо без них. Мне даже не стыдно выпрашивать эти слова в каждом письме. Как это написано у Пастернака: «Где я тебя вымаливал у каждого плетня». Так, что ли? Одним словом, буду болтать. Только, Жень, мой хороший, это не просто болтовня. Я, кажется, начинаю постигать, что такое нежность, полная, настоящая нежность, которую «ни с чем не спутаешь». А я путал, принимая за нежность всякие привходящие обстоятельства. Я напишу тебе, какое это чувство. Прежде всего, это чувство старшего к младшему, чувство, улыбающееся капризу, чувство, умеющее понять жестокую детскую несправедливость, эгоизм и прочие аксессуары. Чувство это всегда несет радость тому, на кого направлено. Все равно, какую радость — резиновую собачку или ветку мимозы, или выдумку, сказку, или просто ласковое слово, принесенное лучом на солнечную сторону улицы. Так мне и представляется нежность — сплошной передачей тепла, передачей радости. И сама передача эта — радость для передающего.

Путано и малопонятно? Так? Ну, все равно: ты знаешь мое косноязычие и, наверное, поймешь. Поймешь, по крайней мере, почему я так много и легко говорю с тобой. И почему с таким нетерпением жду твоих слов, маленькой радости, родной твоей улыбки. (...)

Целую твою лапу.

(Подпись)

29.03.1942.

Вот уже несколько дней как пришли твои письмо и телеграмма, а я, ожидавший их с таким нетерпением, не могу собрать ни мыслей, ни слов для тебя...

А ведь с твоими словами последние серенькие дни марта стали ярче, веселее, и сегодня уже очень хорошее солнце. Почему же я молчу, Жень мой хороший? Буду рассказывать по порядку. Скоро будет три декады, как хвораю. Нарывы в горле тебе знакомы хорошо, смею заверить, что нарывы в ушах ничуть не лучше. От боли случалось и петь, и выть. Сегодня уже, кажется, все прошло, если нигде в уголке не притаился проклятуший фурункул, то снова потечет беспечальная жизнь. Вот это первая моя досада. Вторая досада — с отъездом. В марте, как видишь, уехать не удалось, удастся ли в апреле, не знаю. Обидно, что ждала меня ты, что ждал встречи сам, а она еще не материализовалась в сроки, в дни, в часы. Впрочем, ты напомнила, что мы с тобой были всегда оптимистами. Поэтому будем все же ждать близкой и хорошей встречи. Я писал тебе много, а огорчать своими недугами не хотелось. Но слова, вести от тебя ожидалось, как и ожидаются с большим нетерпением. Солнечно, хорошо сегодня! Ты свободна? Пойдем на улицу.

Жму твою лапу.

(Подпись)

2.04.1942.

Выяснилось, что мои злоключения с ушами еще не закончились: сегодня отправляют на операцию в клинику. Говорят, что операция эта пустяковая, но необходимая. Таким образом, если я несколько дней не буду писать, не придавая этому значения. Привет. Пиши.

(Подпись)

5.05.1942.

Здравствуй! Целый месяц без вестей от тебя. Длинным, бесконечным кажется он. Сошел снег, падал снова, совсем по-весеннему светило солнце, а слова твои все не приходят ко мне. Сижу пока в клинике, операция прошла, теперь стадия выздоровления, рубцевания. Чувствую себя прилично, много читаю. Если библиотечных книг не хватает, помогает врач. Выпускаю стенгазету, делал доклады. Правда, устаю, но от усталости помогает постель. Где ты, Женья? Ты не ушла далеко? Если бы знала, как нужны твои родные косые строчки. Как живется? Как домочадцы — мама, Рафаилович. Где Алексей? Пиши, пиши!

(Подпись)

11.05.1942.

Золотой лучистой канителью
Вышивает солнце синий шелк.
У весны глаза поголубели,
Потому что май к ней подошел.

И от этих глаз повеселевших
Всполошился весь пернатый люд:
Голосишки ставят птицы певчие,
А не певчие — поют.

Вот и я — скворец и пересмешник,
Потерявший песенку свою.
Улыбаюсь веточке черешни
И с утра до вечера пою.

Будто жизнь листается сначала...
Поднимайся, песня, в серый дом,
Чтоб она, проснувшись, увидела
Черного скворчишку за окном.

Сегодня и день не синий, и настроение иное. Но стихи пускай идут к тебе. В них какой-то отзвук дня, в который было светло и жилось ожиданием полу-

читать какое-нибудь слово от тебя. Второй месяц уже ничего не знаю о тебе. Мои дела: самочувствие улучшается, и будь тепло, гулял бы по двору. Очевидно, дней через пять-шесть можно будет сбрасывать повязку и отправляться восвояси. Куда поеду, пока не знаю. Жизнь идет ровно, однообразно. Еда, сон, домино, книга. Изредка, по утрам, всплывают строчки плохих стихов, вроде прилагаемых.

Когда же придут твои слова?

(Подпись)

12.05.1942.

Под рукой нет конверта, но я спешу отозваться на твои первомайские строчки. Я писал тебе довольно много о себе, о состоянии здоровья. Теперь послеоперационный период, выздоровление тянется, потому что операция была на кости. Слышу прилично, и вроде худого не говорят. Очень медленно тянутся письма, но уже легче дышать, — твои слова опять со мною и если не будет новых, их можно перечитать. (...)

Этот год прошел на воздухе, и я снова пережил чередование времен года, услышал, о чем поет ветер, увидел, как растет трава. Когда мы увидимся? Загадывать боюсь, но надежды не теряю. (...)

Приветствую.

(Подпись)

22.05.1942.

Я не в обиде на судьбу за то, что письма твои приходят в беспорядке — сначала от 13 мая, а потом от 9 мая. Лишь бы приходили. Ты пишешь о безрадостном небе. Неужели у тебя все темно, сыро. У меня хорошее солнце все эти дни, а вчера был первый гром и дождь с крупными каплями, после которых листья сразу становятся большими.

Вот мне хочется, чтобы этот яркий свет и радостное тепло нашли тебя в твоём большом доме. Печально, что письма ползают медленно и то, что хочешь сказать, приходит к тебе через месяц. С твоими словами одиночества нет вообще, мы с тобой не имеем права на одиночество. Ты поймешь это, если слышишь, как, преодолевая пространство, я смеюсь и грущу с тобой, охраняю твой сон и тревожу его, чтобы услышать твой родной голос.

Май на исходе. Время идет все же медленнее, чем прежде.

Я не скрываю от тебя своего состояния. Писал об этом, на всякий случай повторяю еще. В клинику я лег с диагнозом мастоигит, в дальнейшем оказалось, что это мезотемпонит (что значат эти термины по-русски, не знаю, но характеризуют воспалительные процессы в ухе). Для удаления нагноения мне продолжили дыру в черепе, и мое пребывание в клинике зависит от зарастания ее. Мне кажется, что этот срок исчисляется днями. После выхода позвоню или телеграфирую. Результат лечения — предотвращена возможность менингита, левое ухо потеряно — на 80% против нормального.

Живется ничего. Можно гулять, есть книги, шахматы, а главное — кончился табачный кризис — махорку получаю каждую неделю, а много ли человеку нужно?

Мне сейчас нужно одним глазом, хоть бы в щелочку, взглянуть на тебя.

В руках у меня книжка — «Малый мир». Это ошибки. Мир огромен, сейчас идет борьба за очистку его от фашистского хлама. На Харьковском направлении идем вперед. Хорошо! Теперь мы сильнее, крепче, организованнее. Значит, недалеко время окончательного разгрома врага и освобождения наших земель.

Все это ты знаешь и чувствуешь не хуже меня — ты была в столице в трудные дни.

Привет тебе, привет нашей хорошей Москве!

Будь здорова.

Лапу жму твою.

(Подпись)

31.05.1942.

Ларчик открывается неожиданно просто: письма мои не доходят к тебе потому, что ящик, в который я их опускаю, очищается неаккуратно. Обнаружил это случайно сегодня вечером: шел и увидел, что ребята таскают из переполненного ящика письма. К досаде моей оказалось, что человек, которому я поручал дать тебе ответную телеграмму, поручения не выполнил и сказал об этом через три дня. Вот этим и объясняется мое молчание. Я уже здоров, жду выписки из клиники. (...)

Приветствую тебя.

(Подпись)

2.06.1942.

Перешел в июнь. День ото дня — от Лескова к Шекспиру, от Шекспира к Гоголю. Перевод Шекспира — старенький, но все же дает огромное наслаждение. Впрочем, тебе оно известно лучше — из подлинника, которым ты пару лет назад зачитывалась. Под окном уже расцвел боярышник, на столике — тюльпаны и сирень. Лето вступает в свои права, хотя жары пока не чувствуется.

Сегодня смотрел профессор. Сказал, что дела идут неплохо, и разрешил снять повязку. Это значит, что через пару дней наблюдения я выйду из клиники. Ухо мое очень радо освобождению от трехмесячного груза бинтов и ваты и подышать свежим воздухом. Я даже не узнал себя в зеркале, настолько привычной стала белая полоса марли на лбу.

Тоскуется без тебя. Когда же это, наконец, случится, пробьет час, прилетит минута, та самая, в которую можно будет взять тебя за руку и посмотреть в глаза.

Ты должна знать, почувствовать это. Я ведь все время хожу за тобой следом, думаю, говорю. Все это станет ясно, когда соберутся под твою крышу все мои залежавшиеся письма. И эти большие зеленые листья, и огромное количество сияющих солнц в ослепительно синем дне, и буйное цветение трав и деревьев должно быть разделено с тобой. Одному мне этого и слишком мало, и слишком много.

Слышишь меня, родная?

Услышь!

(Подпись)

22.06.1942.

Начинаю работать. Вчера был в лесу — обилие трав и ягодника. Белые лепестки брусничника напомнили о твоём больном, беспокойном сердце. Как оно, пьешь ли этот брусничный отвар? Мне очень хочется видеть тебя здоровой, такой и приснилась сегодня. Чувствую себя хорошо, настроение приличное. Знакомлюсь с начальством, с товарищами, как всегда в начале работы. Через пару дней дам тебе точный адрес и постараюсь выслать денег.

Маленькая моя, хорошая девочка! Будь здорова. Спокойного сна тебе. Яркого солнца и синего неба!

(Подпись)

2.07.1942.

Не выполняю обещания — писать каждый день не удается. Работать нужно много и серьезно. Обжился, знакомлюсь с товарищами, с которыми вместе будем бить немцев. Народ энергичный, настоящие люди с выдержкой, знанием, умением. Я с ними становлюсь моложе, ловчее, напористее. Но о себе сейчас не хочется говорить: часа два тому назад узнал о смерти Купалы. Все еще не верю, не понимаю, не хочу знать. Только слышу острую, неумолкающую боль, как всегда при его болезнях или огорчениях. Я крепко любил старика, любовью, которая не замечает видных и обидных для других мелочей. Как трудно ему было умирать. Не увидев

нашей победы, не увидев земли, для которой он жил и работал. И эти дни все почему-то думал о нем, хотел увидеть, а теперь вот только издали приходится поклониться праху. Не забудь, когда сможешь, положить на могилу ему синие цветы. Год тому назад он говорил мне о синих цветах, цветах, которые росли в белорусских лесах, подожженных войною. Трудно думать, что Купала — это имя, горка книг и памятник, что никогда больше не услышишь его детскую речь, не увидишь льяные волосы и ясные глаза. Прости, мне тяжело, плачет душа...

Вокруг цветущая рожь под ветерком, яркий луч, невдалеке — березняк. Все что он любил...

Пиши мне, родная! Пиши много о себе, о здоровье. Как я желаю тебе здоровья, силы!

Обнимаю родную.

(Подпись)

П/о Мстера-вокзал, до востребования.

10.07.1942.

Пользуюсь оказией, чтобы сказать тебе пару слов. Товарищ едет в Москву, зайдет к тебе, если не сможет, пошлет почтой. Живу прилично и, как видишь, пишу. Посылаю тебе две главы поэмы и пару стихов. Прочти и стихи дай печатать журналу «Беларусь», Гурскому или Крысько¹. Телефоны знаешь. Поэма пусть лежит, отсылаю, т. к. боюсь потерять. Много беспокоит, и прежде всего, здоровье — твое и старика. Предполагаю, что у меня скоро появится постоянный адрес, и тогда жду большое письмо. Как дела с издательством и Союзом писателей? Получила ли там что-либо? Если с деньгами задержка, реализуй мое пальто, а потом я все налажу.

Славное лето удалось, много всяческого добра: яблоч, вишен, ягод. Вообще урожай должен быть на славу.

Каждый день — радостные вести, вот уже скоро Белоруссия будет свободной. Легко жить, чувствуя, как к миллионам обездоленных людей возвращается жизнь, права, свобода. Много у нас побед, но эта и по объему, и по темпам представляется мне ни с чем не сравнимой. Будь здорова, много (...). В радостные часы вечерних московских салютов припомни на минутку меня.

Как всегда, желаю тебе самого лучшего. Привет Владимиру Рафаиловичу.

Привет.

16.07.1942.

Здравствуй, здравствуй, родная моя! Жму твою маленькую руку, крепко обнимаю тебя. Письма откладываются изо дня в день: все жду возможности поговорить с тобой, и вот, когда твой голос был совсем рядом, разговор сняли. Что там произошло на линии, неизвестно, но я все время слышал тебя, твой разговор с телефонисткой. Почти каждый день пытаюсь найти тебя по телефону, и все безуспешно. (...)

Я здорово загорел, живется неплохо, хотя забот у меня пропасть. Особенно круто приходится, когда сталкиваюсь с разными хозяйственными вопросами: я ведь всю жизнь не умел ни кормиться, ни одеваться. Однако привыкаю, учусь. На днях наладил кухню, нашел хорошего повара, все получается хорошо, и жалоб не слышно. А кухня пугала больше всего, но вот видишь, наладил и ее. Иногда времени не остается и для сна, тогда моюсь, бреюсь и начинаю день. Это не жалоба, хотел бы работать еще больше, и буду работать, если потребуется, только бы поскорее расколотить немца.

Как хотелось бы еще раз повидать тебя. Не знаю, будет ли возможность ехать через Москву, ведь мы почти не виделись.

¹ Крысько Тимофей Васильевич (литературный псевдоним — Василь Витка. — Т. К.).

Никак не могу примириться со смертью старика¹. Горько и тяжело мне думать о нем... Видела ли ты его в последние дни, была ли на кремации?

Что слышно у тебя? Напиши побольше. Сейчас побегу опять ловить твой голос. А может, и состоится разговор.

Еще раз обнимаю тебя.

(Подпись)

4.08.1942.

Сегодня год, как я ушел из Москвы. Сколько пройденных дорог, сколько пройду их до возвращения со словом — победа. А иначе и возвращаться не стоит. (...)

У меня теперь под началом столовая, правда, небольшая, но вполне приличная. Я писал уже об этом. Деньги будешь получать регулярно каждого 15 числа. Спрашиваешь о табаке. Мне ничего не нужно. (...)

Добра желаю тебе.

(Подпись)

1.09.1942.

Сегодня утром, в степи, нашел обрывок конверта с таким родным знакомым штемпелем «Москва». И тогда все яснее почувствовалось, моя родная, какой радостью сейчас было бы письмо от тебя.

Скоро получу его? И почувствовалось, как всегда, одно, нерушимое: как по маленькому обрывку бумаги можно представить огромный прекрасный город, так и по участку, поляне, бугорку, который тебе дано взять или защитить, нужно представлять Родину. И если ты представил это, если увидел ее, нашу великую, простую, необъятную родину, ты будешь победителем.

Все это увиделось, почувствовалось в короткий десяток минут среди огромного серого пространства. Я знаю, ты была со мной. Пиши.

Пиши и пиши.

(Подпись)

30.11.1942.

(...)

Вчера радостная весть об освобождении Ростова. Узнал поздно и совсем не захотел спать. Очень хорошо. Будем ждать продолжения побед. Сила этих подлых тварей — пыль, она рассыплется и будет незаметна и неощутима. А пока надо драться. И покрепче. (...)

Будь здорова, Жень! Какую-то до сих пор хорошую теплоту мне надо передать тебе.

(Подпись)

13.01.1943.

Я имею право говорить прямо в эти последние дни моего последнего года, потому что не имею уже никаких прав, как и все стоящее по ту сторону.

Не дал мне бог любви к тебе простой, тихой и прозрачной, какая нужна сейчас, «чтобы отдохнуть», а разорвал, безжалостный, душу и всыпал в нее уголья, но не спокойные и ласковые, как в маленькой печурке твоей, а с синим огнем, дымные и чадные, — наградил меня любовью темной, злой, не прощающей, с болью, мукой, ревностью. Не дал он мне хорошей той любви, как не дал ночам моим сна, последним дням покоя.

Ночь. Старый, испытанный способ — письмо. Раньше — не хватало дыхания для нужного слова, сейчас — нельзя сказать его тогда, когда это необходимо, когда оно особенно ясно и горячо. Поэтому пишу сегодня, — слова начали вскипать только в эту новогоднюю ночь, совместность которой предсказала ночь

¹ Имеется в виду Янка Купала. — Т. К.

1941 г., что встретим мы бутылочкой вина только вдвоем. Забыла? Предсказала, а покоя не принесла. Что от него, от блуждания из угла в угол, когда валится книга из рук, в клочки изрывается бумага и все обращенное к тебе отскакивает, как от брони. А внутри — огонь, тревожный, ни на миг не угасающий, превращающий в пепел волю к жизни, любовь к ней. Как и несколько лет назад, он ничего не оставляет, кроме себя да вот таких же напряженных, окровавленных писем. Пустыня. За все те годы — ни одного решительного, живого движения. Не могли появиться даже строки — во время пожара о нем не пишут, а спасаются от огня. Несгоревшая малость поглощалась работой, тупой, бессмысленной, но необходимой для забытья или просто для пропитания.

Впервые за десять лет, как большая черная птица глухарь, запел я на своей сосне, может быть, неуместно и ненужно, но, запрокинув голову, вливая в свою нехитрую песенку все свое существо, не слыша крадущихся шагов, несущих синий ствол ружья, пока не рассыпался громом и искрами выстрел — и полетела птица, теряя перья, вниз. Пришла тревога. Ты — понимающая все. Понимающая меня без слова, по движению, по шагу, не можешь стать родной до конца. Почему же? (...) Это так нужно и до крови обидно. Несколько месяцев смотрел я по ночам со своего дивана, тоскуя, не узнавая, удивляясь, неужели эта далекая женщина — ты, к которой, я шел через огромные пространства земли и времени, которая, казалось, также шла ко мне. Начало декабря стало теплее, а ведь было так холодно, что думалось по-твоему «погреться у чужого огня», и источник тепла временами был безразличен. Но броситься при первом огорчении в (...) по-мальчишечьи не смог, и, как достаточно повзрослевший человек, нашел тепло в работе, объяснив все нездоровьем, не оставлявшим ничего для людей, хотя бы стоящих рядом. Вот тогда и смутили меня все эти пресловутые звонки. (...) Больная, совсем обессиленная, часами лежавшая неподвижно, с закрытыми не спящими глазами, как быстро уходила ты к телефону, надолго (для меня — на годы!). Смеялась, не договаривала понятных фраз, со знакомой нежностью произносила слова, возвращалась оживленной, чтобы внезапно поблекнуть при моем приближении. А я все же подходил — было очень холодно: промерз я за год жестокой судьбы, крови и горя. Почему же не слышал я смеха, не видел улыбки, почему они поглощаются пространством, почему их нет только для меня? Горько. А тебе непонятно: всё отпадет, зачем обижать людей? Непонятно и мне: может быть, по-солдатски, чрезмерно просто и грубо, обрубил я всё за собой, не оставив никакого закута, где мог бы быть без тебя, куда мог унести что-либо от тебя. И снова старый вопрос — если люди чужие, зачем считать с ними? Ведь если мать отдаст последний хлеб ребенку, более голодному, чем ее собственный, то она никогда не откроет дверь, чтобы случайный ветер унес последнее тепло, в котором жизнь и радость дома. Вот и аналогия, которую отвергаешь. Когда-то сказала «встреч больше не будет»; они продолжались: «человек очень одинок» — поэтому переступила через сказанное мне. Сразу же после постели, после месяца войны за тебя с ангиной, заторопилась осветить одиночество, а я в облупленной комнате остался один с керосинкой, которая спасала тебя горячей водой, с тазом, на котором виднелись еще следы крови. Я говорил с этими вещами, также легко оставленными, как и я, ждал тепла — оно уходило в пространство.

И вот продолжают звонки, продолжают какие-то люди, которые никак не хотят отпадать за четыре месяца нашего вместе; тебя на них уходит больше, чем на меня. Ты не можешь отказаться от них даже не из-за жадности. Ты любопытствуешь, не отвергая почти ничего, потому что не заполняется день мною, потому что встречалось все не то, желание настоящего углубилось, и ты присматриваешься, не блеснет ли оно во встреченном лице. А дешево или дорого это, безразлично, — это больно, как больно потеплевшее начало декабря, потеплевшее только потому, что дрова на исходе больше берегут. Я принял это, все время чувствуя временность, хоть заметив ее у другого, предвидя его будущее, заполнил бы эти дни теплом, чтоб достало его на все предстоящее короткое и

тяжелое существование. Человеку легко было бы уходить из дома и из жизни. Но при всем огромном сходстве мы сильно разнимся друг от друга. С нового местожительства все же я тянусь в дом, который не смог стать моим, пренебрегая неполнотой. Так стремятся уйти куда-либо мои несчастные товарищи, такие же обреченные люди, глушащие себя сверхциничным отношением ко всему и вся, но втайне ждущие хорошего и второпях заменяющие его первым встречным суррогатом. В этом — самое страшное. Нет в них радости: первая встреча, вторая, последующие. Не от недостатка тепла, не от тянущегося за тобой — это родило неполноту, а она опять принесла неправду. Ты знаешь, в чем она, можешь даже знать, когда она стала для меня ошутимой, честнее говоря, явной. Обнажить ее, перешагнуть через раз сказанное ты не сможешь, — ты успела поверить во всё, что говоришь мне, как ребенку, во что я как ребенок, хотел бы верить. Ты даже успела углубить ее, совсем неумно, и если даже сама не поверишь, все равно не перешагнешь: внешнее твое упрямое слово не посчитается с моим внутренним. Поэтому — письмо бесцельно. Как и все предыдущие, восполнит оно коллекцию валяющихся у тебя. Но я так не могу. Я не ищу какого-то абсолютного спокойствия, созерцания. Я могу отдать его, бросить (...), дневники за простую заботу о тебе, идущую от полного сердца. Но полноты нет, и за время, прожитое в твоей комнате, не пришла настоящая, согретая внутренним теплом забота, чтобы стали обычные житейские хлопоты жизнью и светом. Только в твой день, как двадцатилетний, впервые встретивший тебя мальчик, ездил я по огромному городу, собирая все, что могло бы доставить тебе радость. Назавтра ты не увидела меня, не вспомнила, что и у меня есть день, которого никто не помнит всю жизнь. Ты сказала тогда: «От тебя все зависит», я ответил шутя: «Запомни эти слова».

К сожалению, все зависит не от меня.

Что остается? Оглушить себя, как мои товарищи, или взять полное одиночество, потянувшись к старому жизнелюбцу Хайяму? Даже как животное, но уже ходившее с кладью под гору, не могу принять я первого.

Если встает рядом со мною по жизни человек, я должен любить его полно. Если навязывает судьба на час первого встречного, я ничего не увижу, не захочу потрудиться увидеть, меня ничто не удивит, не тронет, не обеспокоит — я не буду любить его.

Почему же, мой — не жена, не любовница — большой друг, не видишь ничего этого? Зачем лжешь, не умея лгать, ненужно и бесцельно, наряду с минутами потрясающей искренности, унижая себя и меня? Ведь я не вымогаю, ведь сегодня, прождав несколько часов, я ничего не спросил, чтоб не заставить тебя солгать, и больше тебя боялся несостоявшихся при мне звонков, чтоб не объясняла их, ища слов, чтоб не терять тебя и себя. Мне жаль, когда говоришь неправду: это так трудно и обидно! Зачем же? Вот на какой грани мы. А с нее — прямая дорога в знакомый, уже опять начинающийся ад боли, либо — к обычному мужу, к обычной жене с их дразгами, оскорблениями, рукоприкладством и миром на грязной простыне до нового утра.

Что же нам взять с тобою?

Редкая, хорошая, самая близкая! Нам не нужно больше видеться, встречаться — мы не найдем себя. Может быть, я иду в большую боль, в совершенное одиночество немногих своих часов, но и оставаться в этом не хватает дыхания.

Вот уже и утро. Пусть принесет оно тебе радость. Дай бог тебе настоящей обволакивающей нежности, которой не хватало всю жизнь и которая уже не придет ко мне — ведь и жизни самой осталось не больше аршина.

(Подпись)

18.07.1944. Минск.

Приветствую из Минска. Приехал сюда пару дней тому назад, еще не успел осмотреться, а уже нужно собираться дальше. Говорить тебе об огромной радости свидания с городом трудно, кажется, что все еще пока во сне. Вчера был парад огромной партизанской армии, возбуждавший много мыслей и чувств.

Нет, никогда не может быть рабыней страна, воспитавшая этот стальной негнущийся народ. Потому с такой быстротой и покатались отсюда немцы. Город они повредили основательно, но все же жить можно. Видел Марию Константиновну¹, она сказала, что Наташа и девочка здесь, увидеть их пока не имел возможности. Оставил твой адрес и полевую почту Павла.

Тут уже и Петруси², Илья³ и другие писатели. Меня очень беспокоит, что они ничего не знают о выплате тебе денег. Если задержат еще раз, прошу реализовать вещи.

Очевидно, сумею через месяц-полтора побывать в Москве.

Прости. Пишу торопясь.

Привет.

(Подпись)

29.07.1944. Минск.

Из предыдущих писем ты уже кое-что знаешь обо мне. Остальное, очевидно, рассказали Петрусь и Мария Константиновна. Сейчас я зав. отделом культуры в «Звезде», комната в Доме печати с гравюрами руин на стенах. Пока нет транспорта, и это несколько обременяет. Когда немного утрясутся дела, приеду, все расскажу по порядку.

Обосновался было на житие, да во время бомбежки сгорел дом и в нем сумка с четырьмя главами «Лявонихи», черновиками и началом новой поэмы. Я выскочил, когда крыша уже горела. Теперь все ютимся на Сторожевке: Лыньков, Глебка, Крапива, Танк, Пестрак. С квартирами трудно, вообще жизнь налажена слабо. Питаемся преимущественно малиной и молодой картошкой с водочно-молочным соусом.

Плохо одно — ничего не знаю о тебе. Первое — здоровье и настроение. Пожалуй, это и второе, и третье, и последнее. Беспокоят еще и материальные дела — заплатило ли, наконец, тебе издательство. Глебка говорил об этом с сожалением. Если до сих пор нет, то опять, не знаю в который раз, повторяю — реализуй мою одежду. Черт с ней, добудем сейчас все.

Писать хочется, дел много, но пока, как говорится, я в растрепанных чувствах. Насилу собираю мысли для статей. А писать надо много, хорошо, каждый день — очень уж много посеяли плевел немцы и их прихлебатели.

Напиши мне, голубчик, побольше. Я давно тебя не видел. Если не сумеешь передать, то — на главную почту до востребования (ул. Кирова). Можно и на редакцию — Пушкинская, 55.

Жму твою руку.

Желаю, как всегда, самого лучшего.

(Подпись)

Рафаиловичу, Алексею и прочим домочадцам искренний привет. (...)

(Подпись)

9.08.1944. Минск.

(...) Пусть и у тебя это утро начнется с такого же зеленого тополя и ослепительно голубого неба за окном. Начинаю немного приходить в себя после напряженных месяцев весны этого года. Если бы поменьше ходьбы, то и совсем было бы хорошо. Утром после завтрака путешествую в Дом печати, там до 15.30 и на обед чаще всего машиной, но в общей сложности километров 10—15 набирается. Живем вдвоем с Лыньковым. Танк уехал на родину. Делаем иногда экскурсии на рынок за молоком, оно здесь 15 рублей литр. Было много черники и малины, теперь начинаются яблоки и вишни. На рынке пахнет свежим сеном и очень хорошо, прямо изумительно, звучит язык. Забыл похвалиться, что при нашем особня-

¹ Мария Константиновна Хайновская, зав. библиотекой Союза писателей БССР. — *Т. К.*

² Петрусь Глебка, Петрусь Бровка. — *Т. К.*

³ Илья Гурский. — *Т. К.*

ке есть большой огород, в котором растут картофель, кукуруза, фасоль и прочие блага. Из декоративных — горошек и настурция.

Встаю рано, но пока еще писать не могу. Пробовал восстанавливать сгоревшее — не получается, все, кажется, было лучше, полнокровнее. (...)

Жду от тебя вестей. Напиши о себе больше, одним словом, обо всем.

Можешь звонить Глебке или Гурскому, они знают, едет ли кто-нибудь в Минск. Письма берут все. Если это письмишко застанет М. К. в Москве, то передай с ней серый костюм, ботинки и одну костюмную рубашку с воротничками (можно белую с белыми). Там же должны где-нибудь быть носки и галстук, лучше фиолетовый белорусский. Свою военную одежду я изорвал, а коричневый костюм теперь не хочется.

Приветствую тебя.

(Подпись)

Привет Рафаиловичу.

(Без даты. — *Т. К.*)

Пишу тебе, как всегда без удержу много. Нельзя сказать, чтобы день был сильно заполнен, но если случаются три дела, а стало быть, и три места, где нужно побывать, — день заполняется целиком. Транспорт пока отсутствует, отвечает все время собственная пара. А гулять приходится в Дом печати, в столовку, на Сторожевку — к жилью. Живем также у Танка — Лыньков и я, благо есть диваны. В доме жил какой-то инженер, и мебель почти уцелела. Днями разрешится вопрос с квартирами. Квартира очень нужна: пишу, как всегда, совсем один, а моя «Лявониха» уже соскучилась. Больше месяца, за исключением мелочей, не пишу. В беспорядке записываю строчки, а систематизировать — как бог даст. И столько звенящего, как никогда. Жизнь почему-то кажется короткой, не могущей уместить даже содержание одного дня. А знаешь, голубчик, один день в Минске — это содержание целой жизни, сверток шекспировских тем и мыслей. Жаль, руки коротки — скудок талантишко. Ты прочла уже в «Правде» о зверствах в Люблине. Все происходившее в Минске во много крат тяжелее и ужаснее. Нам, очевидцам, выпала большая доля — рассказать об этом. Только бы справиться.

Очень хотелось бы сейчас увидеть тебя, и именно здесь. Мы бы прошли тихонько по нашему милому городу и вспомнили нашу юность. От Республиканской до Техникума (цел!), от Розы Люксембург до Ленинской. Я уже печатал стихи о Минске, которые ты знаешь. Не так давно расцеловался на рынке с техникумовцем, который случайно прочел мои строки в газете. И молодость наша была рядом с нами. Постараемся сделать наше сегодня если не таким же полным, то гораздо более мужественным и плодоносящим.

Ты меня беспокоишь. Будь, родная, спокойнее. Поправится старик¹, постараемся сойтись под одной крышей на нашем старом жилье.

Будь здорова! Желаю здоровья старику.

Обнимаю.

(Подпись)

27.08.1944. Минск.

Здравствуй, Жень!

Потерял твои следы и опять ничего не знаю. А на сердце у меня что-то беспокойно: как же ты себя чувствуешь, как ходишь, что думаешь? Никак не вытанцовывается с поездкой. Шел в газету на время, в помощь, а сейчас надо здорово тянуть лямку. А людей нет совсем, а делать каждый день номер большого формата — сама знаешь — обременительно.

В Минске очень хорошая ясная осень. Глаз уже примирился с развалинами, острота первых восприятий прошла, и сейчас время «ума холодных размышлений». Пытаюсь размышлять.

¹ Имеется в виду Владимир Рафаилович Соколовский, отчим Евгении Пфляумбаум. — *Т. К.*

В первых — дай бог — числах все же думаю окончательно решить вопрос с квартирой и выехать в Москву. Может быть, и удастся.

А пока ты пиши мне, не ожидая оказий. Письма, кажется, ходят лучше. Приветствую, желаю здоровья, обнимаю.

(Подпись)

5.09.1944. Минск.

Вчера поутру залпом прочел все твои письма и растерялся — столько хорошей радости принесли они. Во всей этой спешке и сумятице последних лет и особенно последних месяцев я отвык от теплого слова, от родного и нужного участия. И разучился говорить так сам, может, и не разучился, а просто принимал тягу к человеку за тягу к бумаге и с ней разговаривал, жил. Оказывается, этого ничем заменить нельзя. Я даже склонен оправдывать этого беспроблемного лентяя — Петруся за то, что он копил письма и передал их сразу. Словом, я всколыхнулся после бессонной ночи и легко сделал полосу в газету, написал статью, закончил стих. И впечатление — богатого солнца где-нибудь у призрачной и холодной кринички — не покидает меня.

Только ты ни о чем не тревожься, смотри себя, батьку, и все будет хорошо. Хочешь в Минск? Хорошо. Хоть и тяжело. В первые дни будешь ходить и плакать, как я, стараясь стряхнуть хаос и ужас происходившего здесь. А потом еще крепче возненавидишь миллионы раз проклятую банду грабителей и убийц, которым приходит конец. И будешь работать много, хорошо.

Обо всем, что касается переезда, приезда, — поговорим при встрече. В Москву я очень хочу и сильно собираюсь. Но пока в редакции трудно, людей мало, и я не вправе бросить большое, развертывающееся дело.

Пишу очень мало. Газета съедает время. И ходить приходится порядком. Но все же пишу. Приеду — похвалюсь. А теперь похвалюсь комнатенкой. На улице Берсона, окнами на костел. Маленькая, светлая, прозрачная от солнца и воздуха. Туда мы переехали с Лыньковым. Всего на двоих — четыре комнаты. В двух устроили кабинеты (сие звучит гордо, ибо у меня стоит только кухонный стол, кровать и один стул, да сегодня Марийка повесила занавеску, она же притащила подушку — моя вместе с одеялом сгорела), а в двух поставили по шкафу и полочке, наверное, появятся и книги. В доме — вода (редко) и свет, а в Минске это очень много.

В воскресенье писал там стихи. Лыньков до вечера уезжал, а я открыл все окна и двери и ходил, смывая усталость обилием света и воздуха. И писалось легко, как в молодости, без сомнений и тяжелой борьбы с собой за весомые строки. Думал о тебе, знаю, что и тебе было бы здесь легко.

Квартирный альянс меня, конечно, не устраивает. Но как этап — это очень хорошо. Скоро будет больше жилья, я постараюсь достать что-нибудь, пусть небольшое, но совсем самостоятельное. И в таком месте, где меня не будут отвлекать посетители. Надо садиться за работу по-настоящему. Как Кузьма. И от него получил вчера хорошую радостную весточку. Передай ему привет, скажи, что мы о нем не забываем и хотим только найти угол поудобнее и поспокойнее.

За костюм спасибо. Моя одежда уже потеряла всякий вид, и он подоспел в это время. Когда колени не поддавались штопке.

Бытие — сносное. Надо только, очевидно, организовать обед самому, т. к. столовые далеко и пока не дотягиваются до московских.

Карточки в Союзе надо получать по примеру Лели и Лены.

Может быть, я скорее пожму тебе руку, чем ты получишь это письмо. Но говорить нам нужно часто и долго. Вот и поговорили. Сегодня дежурю. Пора, начинается страда.

Приветствую.

(Подпись)

* 17.09.1944. Минск.

Завтра в Москву летит Кондрат, я же вынужден дожидаться его здесь, потому что нельзя оставить журнал. Значит, буду, это уже окончательно, 1—2 октября. Прости мне это, родной. Я знаю, что надо как можно скорей ехать, но пока обстоятельства вынуждают остаться.

День начинается тревогой — как у тебя, что с отцом, не через верх ли опять переполнилась чаша терпения с этими глупыми и подлыми соседями. Между прочим, у Кондрата на Козихинском собственная комната. Он не знает, что сделала с ней жена, но собирался отказаться от нее.

Поразмысли, может, пока, на время, тебе стоит переехать туда, есть смысл поменяться, чтобы быть спокойной. Поговори с ним. Лучше прожить неделю или месяц спокойно, чем день в напряжении. Я считаю это лучшим вариантом.

Работы у меня пока не меньше, встаю писать в 6, ложусь около 12-и. День заполнен. Ничего хорошего не пишется. Один из поводов, почему медлю с отъездом, — квартира. Комнаты, которая есть, — мало. Возможно, на днях будет две. Хочется закрепить и быть где-то в более тихом месте, чтобы работать без преград. Да и надо рассчитывать не на временную жизнь, а на длинный период. Значит — квартира прежде всего. А с ней делается все труднее.

Прости, что пишу путано. Весь день готовил материал в номер.

Мне просто хочется крепко пожать твою малую лапу и хоть одним звуком напомнить о себе.

Приветствую родную мою.

(Подпись)

* 30.10.1944.

Вчера вернулся из Вильно: я, Максим и Михась. Там был съезд писателей Литвы. Ездили на своей машине и посмотрели вдоволь чудесных местностей и сам город. Еще раз пожалел, что тебя там не было и этот родной по-настоящему город остается до сих пор неизвестным. Михась ходил буквально разинув рот — он был здесь впервые. А у меня даже появились строки, вот тебе две последние:

І каб я не дружыў з самай лепшай
На свеце жанчынай,
Я б застаўся ў Літве
Ці вярнуўся б Будрысавым сынам.

Принимали нас хорошо и приветливо. Правительство специально для нас организовало прием для белорусов у Председателя Президиума Верховного Совета Юстаса Игнатевича Палецкиса, очень милого человека, который больше всего полюбил нашу «Зязюлю» и пел ее с нами до хрипоты. Пили мы там «Дарбо по вена» — название очень вкусной водки, которая значит «еще по одной».

Потом расскажу больше. Купил в Вильно тебе колбасы и ветчины, такой вкусной, что не смей никого угощать — съешь тихонечко все сама. Масло и сахар — минские. При случае пришлю еще продуктов.

В праздник буду, пожалуй, в Минске, а потом в Германию. Пленум 15 декабря, после него к тебе или буду звать тебя в Минск.

Отепляю дом, печь греет хорошо.

Родной мой, старайся больше есть и больше отдыхать.

Относительно твоего пальто: денег я тебе могу выслать, но, может, лучше купить воротник в Германии. Быстрей напиши, что ты думаешь об этом и как лучше сделать.

Приветствую, обнимаю тебя.

(Подпись)

8.11.1944. Минск.

Здравствуй голубчик!

Прошел последний день праздников. Я остался один и, как всегда, торплюсь поговорить с тобой. Как ты, родненькая, встретила эти дни? Слышала

ли, что я тебе говорил, почувствовала ли мою руку на плече? Праздники у нас прошли широко. Седьмого после демонстрации был у Вл. Францевны¹, а потом Михась справлял свадьбу. Только мне было невесело, и подносил рюмку к губам, мысленно чокнувшись с тобой. (...)

Спасибо тебе за хорошую телеграмму, получила ли две моих — одну к твоему дню, другую — к празднику?

Будь здорова и спокойна.

Немного пишу (...).

Обнимаю.

(Подпись)

Минск. (Без даты. — *Т. К.*)

Приветствую тебя, Жень!

(...) Дома так тепло, что хочется, чтобы и ты погрелась у моей печушки, которую топлю по утрам. Благополучно разделавшись с денежными долгами, купил машину дров, их распилили и покололи, а теперь сажу если не очень твердо на финансах, то, во всяком случае, в тепле. Печка берет мало дровишек, и их, очевидно, хватит еще на сезон. Теперь начинаю рассчитывать с продуктовыми долгами. Надеюсь в феврале разделаться и с этим.

Исправил плиту, купил электрокастрюлю. Свет у нас есть. Вечерами варим картошку в разнообразных вариантах. Поэтому прошу не забывать о себе и аккуратно варить себе грибы, картошку, словом, все, чем располагаешь.

Писать, к сожалению, не хочется. Несколько вечеров играл в преферанс, в театре пока не был. Дисциплинируюсь на переводе «Горе от ума», работа огромная, но крайне интересная.

Если бы ты поглядела на мое житье, то, думаю, осталась бы довольна. Первые дни, с приездом, был некоторый избыток жидкостей. Сейчас все входит в норму. И в самом деле, было бы очень недурно побывать здесь: это принесло бы тебе разрядку, а меня по-настоящему порадовало бы — успел соскучиться за одну декаду. (...)

Обнимаю. Пиши.

(Подпись)

18.01.1945. Москва.

Здравствуй, Аль!

Привезено и писемко, и мандарины. И елка, и дюшес. Опять получились именины. Только в одиночестве. Встречал ли ты еще и... «старый Новый год»? Тут Петрусь с Настей повторили встречу в том же месте.

Пусто в доме, Аль. Прихожу из клиники, и руки не поднимаются сделать что-нибудь для себя. Стало и холоднее, и темнее. Ты сам знаешь все это, родной.

С батькой неприятности. В результате его перевода ему стало значительно хуже. Он стал задыхаться, стонать, и отечность увеличилась. Кроме того, его положили у двери, где страшно холодно. Я стала просить, чтобы его перевели в более теплое место, а мне заявили, что они вообще не намерены его больше держать, потому что сделали все возможное, а больной он беспокойный и постоянно требует пантофона.

Я совсем растерялась. Взять его домой невыносимо, потому что если пару месяцев назад он еще мог один полежать дома до моего прихода, то теперь он в любую минуту может упасть и не сумеет подняться. Идти он абсолютно не может. Значит, нужно нести его на носилках из клиники и домой.

Буду пытаться просить о его переводе в другую клинику, но все это требует какого-то срока, а тут буквально гонят от Бурмина.

Я звонила Петрусю, думала взять у него хоть какое-нибудь ходатайство, но потом подумала, что от Издательства такое ходатайство не даст эффекта. Может

¹Владислава Францевна, жена Янки Купалы. — *Т. К.*

быть, пусть Марийка пришлет мне что-нибудь от Литфонда и, кроме того, с первой оказией хоть немного пантофона в ампулах, чтобы облегчить ему хоть эти тяжелые дни.

Только ты не беспокойся, родной мой. Я со всем этим справлюсь прекрасно. Здоров ли ты сейчас? Где основная работа? Спокойно ли тебе, пришла ли потребность писать? Все это мне нужно знать. Мне вполне достаточно. То же и с остальным. Всего больше, чем требуется для нас с батькой. Работай спокойно и будь здоров. Писать мне нужно часто. Ты это знаешь. По дому никаких новостей. За квартиру заплатила.

Обнимаю тебя. Женя.

Видимо, на днях получу премию (рублей тысячу) от ВВС. Генералитет уже утвердил. Так что можно будет и пальто заказать. А ты не одалживайся и не бери авансов. Все это очень сложно потом компенсировать.

Будь здоров, родной.

200 рублей получены.

20.03.1945.

Давно уже получил родное твое письмо, а ожидаемые оказии все не случаются, и я молчу. Очень тоскливо без тебя, даже цветок на столике с первого же дня моего одиночества начал терять лепестки. Но в комнатухе ты осталась, живет тебе тепло, забота, тревоги, а вечерами я пробую всерьез говорить с тобой.

Как же ты, голубчик, без тепла? Мне даже обидно за возможность распорядиться им по желанию, и вечерний огонь в печке не радует меня, как раньше, когда ты была здесь, рядом.

Житие протекает довольно неорганизованно. Часто путешествую в Дом печати, с журналом не клеится, и от этого страшно неприятно, даже увеличивается усталость. Поутру пишу или перевожу. Вообще, чувствую себя хорошо. Несколько дней светит настоящее весеннее солнце, снег стаял наполовину, и Свислочь угрожает с дня на день разлиться. Вот и сейчас солнце, собираюсь на работу, за стеной орут глупые петухи и воробьи начинают весенние игры. Как славно было бы нам вдвоем в это утро!

Как у тебя со здоровьем? Скоро ли прошла головная боль и прошла ли? Напиши мне.

Хлопцам, чертям, скажи ехать немедленно. Это — Петрусю и Антону. Скажи, что Михась серьезно поговаривает о том, чтобы скостить Антошке лимит. Астрейку увидишь, передай, что его мы отпускали не на месяц, а на две недели, и надо серьезно собираться в Минск.

С Тургеневым — не спеши.

Будь здоров, родной, мой хороший Женя!

Алесь.

4.05.1945. Минск.

Здравствуй, моя родная! Грустноватенько у меня прошел праздник. Как раз 29-го утром было худо, заболел бок. Мелких обнаружил неполадки в почках и запретил алкоголь, какой бы то ни было, мясо и пр. Так что 1-го у Константиновны я был печальным созерцателем того, как Петрусь поглощал сухую белорусскую колбасу и всякие печенья и соленья. Надо тебе сказать, что старик Мелких горевал больше меня о вынужденной посадке моей на сухой закон. Он рассказал об этом всем хлопцам и просил следить и не настаивать на возлияниях.

Первого был парад войск. Для Минска трогательно. Стоя на трибуне, хорошо думалось о стране, солдате, о будущем. Второго просидел дома, но не по здоровью — чувствую себя уже прилично, хотя лечение продолжаю и от длительного движения воздерживаюсь. Будь спокойна, это скоро обойдется. Марийка проявила чудеса распорядительности и заботливости — спасибо ей. Как же ты, голубчик? Я так давно не слышал тебя. 27-го послал тебе с командированным Богатыревым письмо и 2000 рублей. Получила ли? Напиши. 30-го дал телеграмму.

Спасибо тебе за хорошую весточку к празднику. Когда ехал Колас, было очень неважно, писать было трудно, да и не хочется говорить неправду.

Пиши мне, не дожидаясь okazji.

Я сейчас совсем один, Михась улетел в Сан-Франциско, и вечерами с ожесточением набрасываюсь на вольную живую душу — поговорить, сыграть в дурака. (...) Обнимаю.

Приложение 1600 р., масло, 19 яиц и немного сахара.

Марийка приветствует.

3. 05.1945. Москва.

Здравствуй, мой родной Аль! Праздники кончились, и это хорошо, потому что не такими они были, как могли бы быть вместе. Но Москва жила все эти дни особой жизнью. Ты должен скоренько приехать, чтобы посмотреть, какая она стала яркая, прежняя Москва. В комнате у нас сорваны все маскировки. Светло, тепло, а значит и уютно. Вчера у меня был Мавр — он остался в Якоре в одиночестве и изъявил желание навестить меня. Вот вместе мы и слушали приказ Сталина берлинским частям. Было очень радостно, и голос у Левитана стал совсем особенный. В этот момент очень недоставало тебя. Мавр, выпив чарку, стал откровенничать и петь тебе дифирамбы. Он говорит, что не узнал в тебе прежнего мальчика, что ты стал очень интересным и совсем особым человеком. От него это слышать не совсем обычно. А мне всегда радостно, когда кто-нибудь по-хорошему говорит о тебе. Как ты встретил Май? Такое большое желание обнять тебя, Аль. Деньги получила, телеграмму тоже. Спасибо, что помнишь, как нужно мне это.

Видела дочку. Взяла «денежки» и говорит: «пойду покупать». Я полагаю, что все, что ты хочешь передать ей, нужно делать через меня. Так проще для тебя и спокойнее для меня. Спокойнее в том смысле, что когда-нибудь кто-нибудь в разговоре не застанет меня врасплох. Я ведь все еще не совсем владею своим сердцем.

Пиши, родной. Вышла ли книжка? Я тебя очень прошу — сохраняй газеты со всем своим. Обнимаю тебя и опять жду, как обещал.

Женя.

09.05.1945. Минск.

Телеграмма. Поздравляю родную радостью твоей моей всех нас Максим.

9.05.1945.

Здравствуй, мой родненький Аль!

Это первая за все время okazия, и я рада возможности поговорить с тобой, урвав от времени лишних восемь дней.

А эти дни теперь такого наполнения, что, видимо, их не уложить в обычные часы и минуты, и я сегодня утром, подсчитав, сколько их набралось от твоего отъезда, очень удивилась, что не прошло еще и месяца.

Как хорошо, что ты послал телеграмму в этот прекраснейший день на земле. Так она нужна мне была, твоя телеграмма, и она пришла такой, как мне ближе и понятнее всего. И в ней ты, оставшийся собой даже в этих лимитированных кодом словах.

Я тоже дала тебе телеграмму 9 мая. Мне казалось, что вся Москва хлынула на телеграфы — так нужно было каждому сказать о радости самому дорогому и близкому человеку!

Но ты прости меня, Аль, мне очень тревожно за тебя. Я просыпаюсь с тяжестью на сердце — ты болен, и я все последнее время видела тебя во сне больным.

Хлопчик мой малый, — я прошу тебя — береги себя очень. Выполняй все, что тебе говорит Мелких, и старайся лежать, как только почувствуешь хоть маленькую усталость. Я не знаю даже, можно ли тебе курить, хоть и посылаю пять сотен папирос. А вот чернослив — это должно быть тебе в пользу.

И еще я прошу — ничего не скрывай от меня о своем состоянии. Обмануть меня ты не сможешь, а молчать тоже нельзя.

Я должна все знать о тебе. Только тогда я могу дышать и жить. Цветами ты меня очень порадовал.

Петруси прилетели позавчера, но еще ни один не позвонил и ничего не рассказал о тебе, хотя они, видимо, не представляют себе, в какой мере это меня волнует. А я не могу найти их ни в одной гостинице. И Мавр не знает, где они кинули якорь.

Новостей у меня никаких. (...) Да, Аль, тебе необходимо поехать в Ессентуки, я писала об этом Марийке. Нужно сразу избавиться от этой болезни. Ведь такая поездка вполне реальна. Приложи, родной, хоть маленькое усилие. Как ты теперь питаешься? Может быть, в Минске можно достать прованское масло — оно растворяет эти камни и удаляет. Так говорят знающие люди.

Я, как всегда, здорова, только по-прежнему замерзаю. Холода в Москве становятся чем-то неизбывным. Вечера заполняю работой (по дому) до 10—11, а потом читаю. Идти, ты знаешь, никуда не хочется. Я все-таки надеюсь, что ты скоро приедешь. Очень нужно крепко обнять тебя.

Будь здоров и весел.

Женя.

* 05.1945. Москва. (Без точной даты. — *Т. К.*)

Очень беспокоит меня твое нездоровье. Отчего ты отказался поехать на курорт? Можно было сразу избавиться от этой напасти. А может, мы бы поехали вместе? Для меня это было бы настоящей радостью. Пленум закончился. Хлопцы едут домой. Едет даже и Глебка (...).

Я надеюсь, что ты сумеешь теперь приехать, не дожидаясь Лынькова. Да, давно уже мы не были вместе. Твои цветы стоят на столике и не осыпаются. С ними и с твоими, на этот раз скучными строками, так и живу. Когда начинает давить одиночество — поговорю с тобой письмом или телеграммой, засыпаю спокойно. Я знаю, что помнишь обо мне и всегда со мной. Только осознавая это ежедневно, можно жить. Чувствую себя почему-то не совсем хорошо, хотя внешне лучше стала. Весна очень страшная, холодная, несолнечная. Дожди начинаются внезапно, и у меня промокают ноги. Поэтому и не могу избавиться от кашля. Если у Марийки есть пирамидон — привези, родной, пару порошков.

Весна уже на исходе, хотя ее никто и не видел. Читаю только вечерами. Ходить никуда не хочется. Были у меня Кондрат и Петруси. Хотелось их принять хорошо, но без тебя все получилось не очень. Не было той радости и желания сделать все хорошо, как при тебе. Поэтому порезались руки, редька была невкусная, картошка недоварилась, и Бровка, посмотрев на мои окровавленные пальцы, сказал, что я почти такая же хозяйка, как Лёля. А мне это уже неприятно. А вот Мавру я угодила. Он как-то пришел посмотреть, как я живу, и был, как всегда, голодный. Его я накормила как следует. В тот день, когда были хлопцы, умерла М. Д. (ночью). (Жена Коласа. Приписка сделана Лужаниным. — *Т. К.*). Тяжело старику. И ребятам было с ним в последние дни тяжело. Особенно Бровке — он очень впечатлительный. Поэтому они были рады уйти хоть на время из дома. А Настя сделала глупость — начала при Коласе по телефону говорить, чтобы хлопцы вернулись домой, ведь он один. Старика это больше всего могло обидеть, ведь они не сказали ему, куда пошли.



Евгения Пфляумбаум.

Посылаю тебе пару сотен папирос и зажигалку.

Приезжай, Аль, как можно скорей. И прошу тебя еще и еще — держись. Говорят, что и курить при этой болезни нельзя. Хочу видеть тебя здоровым, веселым и крепким. Тогда и я крепну сразу.

Пришли или привези все, что написал, а я не читала.

Будь здоров.

Обнимаю родного. Женя.

*05.1945. (Без точной даты. — Т. К.)

Радостно мне жить с хорошими твоими словами, с родной заботой и вниманием твоим. Только тревожиться не надо, я уже совсем здоров. Летом подумаем о таком отдыхе, чтобы было легко и спокойно обоим. Береги себя. Хлопцы расхвалили твой внешний вид, а сама говоришь, что чувствуешь себя не очень. Вот и обрати на это внимание — мне это прежде всего нужно. Новостей мало. Мало и пишется. Постараюсь собрать все для тебя, хотя и немного это тебя порадует.

Вчера приехали хлопцы и привезли твое письмо и посылку. Сегодня собирается Настя, и я спешу поговорить с тобой.

В эти дни было много хлопот, я остался один и был вынужден заниматься целым рядом не своих дел. Дважды вызывал нас П. К. Пономаренко. Праздновали у него на даче День Победы очень весело и тепло. Принял он нас широко и гостеприимно, угощал настойчиво и хорошей едой, говорил хорошие слова. Второй раз — был серьезный повод и разговор: Марью Дмитриевну мы похоронили 24-го, кажется, старик не почувствовал себя одиноким. Было много цветов, музыка, много людей и искренних слов. Говорил над гробом и я, еле не разрыдался, глянув на старика. Он потом целовал меня и благодарил. Наилучший же оратор был на кладбище. Всю дорогу шел дождь. Когда гроб поставили около могилы, дождь закончился и вдруг запел соловей. Всех нас это очень растрогало. Похоронили мы М. Д. около Кузьмы, на просторном месте, где и просил меня старик. Теперь он чувствует себя хорошо.

Весна холодная и досадная. Просыпаюсь и замечаю за окном толстый слой снега, а зелень на каштанах яркая, и кажется, что на них листья замерзают от холода.

Хожу в пальто. Костюм не шил. Может, на днях соберусь в Москву, если не прикажут проехать в западные области.

Рассказывай мне о себе.

Обнимаю тебя сильно.

(Подпись)

5.06.1945. Москва.

Почему-то очень грустно мне, родной. Одиночество уже, видимо, не преодолевается.

В Москве тепло. Какая-то даже утрированно яркая зелень пробилась на чугунные венки вокруг памятника Гоголю. Почему-то и она ударила меня в сердце.

На днях была на вечере Пастернака. Видимо, только он так весомо сказал об этом городе:

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете:
Я дома, у первоисточника
Того, чем будет жить столетье.

Этот большой и удивительный ребенок пытался прозой объяснить свои стихи. Получалась невообразимая лирическая кутерьма, и он совсем запутывался, смущенный и беспомощный. И в эти минуты были самые задушевные аплодисменты.

Я очень порадовалась статье лондонского профессора в «Британском союзнике» о переводах Пастернака. Он говорит то же самое, что испытывала я, читая «Гамлета» и «Ромео и Джульетту». Это действительно гениальный переводчик, и ничего лучшего у нас до сих пор не было, да и не только у нас.

Не работается. Выслушала часовой выговор от В. А. за то, что в этом месяце не выполнила нормы. А отпуска не дает, и очевидно, не намеревается.

Почему-то выдались такие тревожные дни, когда я ничего о тебе не знаю. (...)

А если мы с тобой съездим на Украину к Наташе? Она пишет умоляющие письма, обещает в неограниченном количестве молоко, мед и утки. А тебе хорошо бы было посидеть на диете. У них, кроме того, свои абрикосы и вишни. Поедем, родной. Сделай это для меня. Я очень истосковалась по тебе. Ты знаешь, как радостно было бы мне поехать вместе.

Обнимаю родного моего.

Женя.

* 12.06.1945. Москва.

Сегодня Колас едет в Минск. Такое у меня впечатление, что он стал чуть спокойней. Даже рассказывал веселые вещи из белорусского фольклора.

Когда же я дождусь тебя, родной мой? Хотелось бы хоть раз поехать встречать тебя на вокзал. Сейчас это можно сделать независимо от времени прихода поезда. Для этого нужно только дать телеграмму.

Хорошо было бы тебе приехать перед 24-м. В Москве в этот день намечается большой парад и демонстрация. Я уже несколько дней не могу спать, потому что под окнами еженощно маршируют офицеры и движется артиллерия. Тебе надо это посмотреть. Однажды ночью я около часа стояла перед окном — движение это было сказочным.

Я здорова, мало работаю и не умею себя заставить как следует работать.

Думаю только об одном — хочу тебя видеть, а во сне вижу только тогда, когда назавтра получаю какую-нибудь весть от тебя. (...)

Женя.

25.06.1945. Москва.

Аркаша не привез письма. Танк даже не позвонил, почта не приносит ничего, кроме «Известий». Очень трудный выдался месяц. Знаю, что ты уехал, но ведь ненадолго. Видимо, одиночество мне больше не под силу — отсюда и бесконечная тревога за тебя. Где ты, как ты, здоров ли, что думаешь, хорошо ли тебе, так ли как нужно? И оттого, что я ничего не знаю, — очень трудно, Аль.

Если тебе не хочется писать — шли телеграммы, позвони, передай на словах — только не молчи. Ведь уже целая цепь okazji прошла мимо — и Зарицкий, и Платнер. Что же случилось, родной мой? Успокой меня как-нибудь — самым скорым способом. Ведь не может быть, чтобы ты хотел для меня тревоги.

Без карточек все-таки трудновато. В июле не будет и обеда, потому что семья редакторов выросла и ежемесячно один остается без литеры.

Июль — мой выход из игры. Я надеялась, что мы уедем к Наташе, но как это все осуществить?

С тоски я стала писать стихи. Видимо, для так называемых поэтесс, — это единственная почва, где что-нибудь может произрастать от поэзии.

Будь здоров, родной.

Обнимаю тебя.

Женя.

*24.07.1945.

Хоть и не получил от тебя отпор, но, подумав, решил, что лучше всего ехать к Наташе. Причины задержек: журнал и злостное безденежье. Это тебе подтвердит и Антон. С приездом Лыня квартирные дела не продвинулись вперед, и я укрепляюсь в своем решении ехать в Москву.

По непонятным мне причинам вызов твой до сих пор на подписи, начальство скоро вернется, тогда пошлю сам, не надеясь ни на кого больше. Отдых планирую с половины августа, но, может, к этому времени уволишься там.

У нас совсем холодно и опять дожди. Перебрался в свою прежнюю чистую комнату, где очень не хватает тебя, родная. (...)

Обнимаю тебя.

(Подпись)

1945. (Без даты. — Т. К.)

Прости меня, родная моя, хороший мой Жень! Трудно и грустно мне без тебя, а пока вот ни в Москву, ни на Украину нельзя. Дело-то в том, что я все (...) улетел бы крыльями по воздуху, а с квартирой ничего придумать не могу. Тут такое переплелось, что Бровка бессилён — его самого стоняют с квартиры — и сколько усилий ни тратим мы, ничего поделаться не могу. Я уже написал, что буду вынужден на продолжительное время уехать в Москву, на это никто не согласен, а уехать самовольно — расценят как демонстрацию. Жду с нетерпением Лынькова, если с ним ничего не сделаем — уеду невзирая ни на что.

Сама понимаешь, настроение глупейшее, поэтому и написать тебе связно не могу, не хочу обременять тебя излишними тяготами.

Живется вообще ничего. Только, к сожалению, Минск остается Минском, и иногда бывает душновато от среды. Я всегда вылезал из нее, очень много у меня острых и непонятных углов. А к старости становится все больше. Пойми меня и знай, родная, всегда, что несмотря на молчание, на внешнюю растрепанность, я с тобой, всегда о тебе думаю и стараюсь каждый шаг направлять так, чтобы тебе было легко и спокойно, чтобы мы вместе могли полнее воспринимать все то, что еще оставила жизнь.

Устал. Не могу организовать отдых и нормальный день. Мечтаю о Москве, очевидно, возьму путевки — напиши, куда лучше: к морю (боюсь дороги и неустроенности) или поближе к дому, в сосняк.

А все-таки говорить надо. Пожаловался тебе, хоть и стыдновато, но легче.

Посылаю телеграфом 1500 р. и телеграмму. Напиши получение. Почитай мою книжку. Говорят, неплохо, а я морщусь. Скажешь?

Обнимаю, тихонько прижимаю к губам милую лапу.

(Подпись)

1945. (Без даты. — Т. К.)

Здравствуй, Жень!

Ну вот, кажется, и настоящее тепло. Я сильно толстею и посему чувствую себя беспомощной рыбой. Спасибо ветерку, дует в окошко и немножко приносит тополиной свежести. Обзавелся вещами: стенные часы отбивают звончайшим голосом положенные им удары, приемник помогает переживать вечера — слушаю английские песенки и до слез хохочу над завываниями турков, маленький ундервуд пока без употребления — надо овладевать техникой письма. Ты будешь довольна этими вещами.

Я уже решил ехать к Наташе. Только, говорят, на Украине неспокойно, недоловленные бандиты делают налеты. По этому поводу получше расспроси Алексея. Завтра проверю высылку тебе вызова, он должен быть выслан обязательно. Если с Украиной не выйдет, поедем к Несвижу на озеро. Все равно ведь. Сейчас занят журналом. Нашу «Гадину»¹ реорганизовывали в «Вожык», и теперь много возни.

О здоровье не беспокойся. Все, кажется, прошло бесследно, во всяком случае, тревожных признаков нет. (...)

Михась после дороги отдыхает, шлет тебе привет.

Писать трудно, а посему и пишется мало. Очень много времени уходит на окололитературные, правда, нужные, но не идущие в основной баланс дела.

Прошу тебя быть спокойной. Мне кажется, что сейчас дело идет окончательно на лад по всем направлениям.

¹ Листок «Раздавим фашистскую гадину!».

(...)

Думаю о встрече, жду ее.
Будь здорова и спокойна еще раз.
Обнимаю.

(Подпись)

* 10.10.1945. Минск.

Хороший мой Жень!

По городу ходит дождь, в доме холодно и неуютно. Только когда глаз найдет какую-нибудь мелочь, оставшуюся от тебя, тогда посветлеет, и кажется, что сейчас ты придешь из другой комнаты и принесешь ласковое словечко.

В городе много новостей. Первая и наиболее интересная, заставляющая дней пять трястись всех сплетниц мужского и женского рода, — Михасёва женитьба. Отколол он эту штуку совсем неожиданно: в воскресенье вечером поговорил со мной о семейной жизни, а в понедельник с утра познакомил с женой. Это та самая женщина, что приходила с Глебкой играть в дурака. Игра, как видишь, закончилась печально для седого: курить ему не дают, рюмку ограничили и рассчитали секретаршу. Наверное, теперь моя очередь на расчет: надо выбираться из комнаты. Это, конечно, пока шутка, но чем черт не шутит. Женщина — старательная, но, судя по острым и довольно наглым ее глазам, они не обещают Михасю счастливого будущего. Хотя мне думается почему-то, что все будет хорошо.

Отпраздновали юбилей Александровской. Хорошо и очень торжественно. Один вечер она пела «Кармен», а на второй было торжество. (...)

Журнал подготовил 4-й номер. К сожалению, заболел Кондрат, и это добавило хлопот. Возможно, эта болезнь не затянется. Нынче видел жену, и она говорит, что все обойдется. (...)

Как у меня дела? Лимит получил и без особенных потерь отоварил. Хуже с домом — ни слуху ни духу. Михась подал список на квартиры — моя фамилия первая. То есть, что в одном из первых домов квартира будет.

(...) Настроение и стремление к работе есть. Подниму с кровати Кондрата и буду готовиться к приезду к тебе. Готовиться, правда, особенно нечего — сесть в поезд да ехать. Прельщает и другая перспектива: на носу поездка в Германию, но мне стыдно дважды не сдержать данные тебе слова. Постараюсь еще позвонить тебе, малыш, чтобы услышать твой голос. Позавчера ходил утром на телеграф, но разговор не удался. (...) Как у тебя дела с увольнением? Есть ли результат от последней бумаги? Об этом я хочу спросить тебя. Может быть, что-то надо сделать дополнительно. Спокойной ночи, родной. Время и мне. (...)

Давай лапы свои.

Алесь.

* (Без даты, рукой Лужанина помечено: 1945 год. — **Т. К.**)

Телеграмма из Вильнюса пришла позже письма, привезенного Богатыревым, и я полагала, что ты в Германии. Спасибо, родной мой, за подарки, постараюсь, как приказал, съесть все сама. Сейчас со мной дочь Я. Мавра Наташа. Мне немного легче, когда рядом кто-то есть. Она славная скромная девушка и во многом ведет себя именно так, как в таких случаях вела бы я сама.

Когда ты приедешь, она пойдет к Шуре — сестре.

Я рада, что ты съездил в Литву. Может, и мне когда-нибудь доведется попасть в этот город, что так понравился тебе. Его любил и Купала. Часто говорил он мне, что это лучший город в мире и мне надо специально поехать посмотреть его.

Еще хотелось бы мне, Аль, побывать на пленуме. К тому времени я, по-видимому, не освобожусь, но по какой-нибудь особой телеграмме могла бы выехать. Увольнение мое упростилось бы, если бы ты приехал в Москву и договорился с Гришелевичем насчет моей работы, а так, ты понимаешь, я могу попасть в тяжелое положение, поэтому я вынуждена держаться не так категорично, как это

нужно для окончательного расчета. Вот видишь, Аль, как это все сложно и без твоей помощи не развяжется.

Надеюсь, что ты все же приедешь в Москву после пленума, не обращая внимания ни на какие преграды. Тебе необходимо хорошо отдохнуть. А сейчас в доме тепло и светло, а значит, и уютно. А потому еще более не хватает в ней тебя.

Скоро праздник. И я уже боюсь своего настроения. Пусть бы он скорее прошел. Если у тебя будет возможность, позвони мне, Аль. Услышу твой голос, и у меня будет праздник.

Воротник мне доведется покупать в Москве, потому что он нужен мне уже 15 ноября. Ты не успеешь привезти его из Германии. (...)

Не обращай внимания на настроение письма. Я, вообще, веселая. Буду ждать тебя из путешествия и телеграмм. Обязательно телеграмм. И привезешь мне что-нибудь красивое, чтобы от тебя на всю жизнь.

Прошу тебя, береги себя. Не надо часто сидеть за картами. Ты утомляешься и потом не спишь. Обедаешь ли хоть ты ежедневно?

Как с Марийкою, носит ли она тебе хлеб?

Как с почками?

Все это мне надо знать, а ты пишешь мало.

Будь здоров, Аль.

Женя.

(...)

(Без даты. — *Т. К.*)

Аль, мой родной!

Москва уже белая, и по утрам мороз. А я плохая хозяйка — не замазала еще окна. Не было времени. Целую неделю убирала дом, ожидая хозяина. Даже красила, натирала пол. Хотелось, чтобы приехал ты в чистый светлый дом и по-настоящему отдохнул. И так он, глупый, стоит и чистый, и пустой. Но ты не думай, родной, что я обижена. Тебе необходимо поехать с хлопцами, и я рада, что ты поедешь. Только прошу тебя, береги, смотри себя хотя бы немного — обедай ежедневно и помни, что ты у меня больной мальчик.

А та твоя статья — стоит ли на нее реагировать? По-моему — нет.

Хочу обнять тебя сильно, чтобы спокойно и радостно тебе было жить. Чтобы здоровым ты был и веселым по утрам, поднимаясь с солнцем, и немного вспоминал обо мне.

Думаю, что после Германии у тебя будет возможность приехать в Москву. Новый год мы должны встречать вместе.

После этой дикой поездки на картошку я долго болела. Сейчас уже почти хорошо. Обошлось. С Оборониздатом все еще неизвестность. Без Попова Краснов отказался увольнять меня. Правда, в некоторой мере это компенсируется литературным обедом. Сейчас столовая на Воровского переведена на время ремонта в «Москву». Здесь мне и близко, и приятно — очень уютно, и вкусно кормят. Но прикрепиться было очень тяжело, ведь я опоздала. Немного помог Мозольков. Он, кроме всего, сказал мне, что тебе стоило бы приехать и дать книжку в «Советский писатель». Это совсем реальная возможность.

Пошить пальто в Москве — это, едва ли не большая проблема, чем в Минске. Много хлопот. Наконец получила ордер в Литфонде, купила ватин, нитки, парусину и отдала все это в ателье.

Воротник можно сдать позже, он нужен во время примерки, а она будет только 15 ноября.

Вот сейчас вспомнила, что пленум ваш планируется на конец ноября, и опять ты не сумеешь приехать. Как это все выстраивается всегда нехорошо для меня. (...)

Как хорошо было бы здесь нам вместе. Ну, хорошо, родной. Я буду терпеливо тебя ждать и все делать для того, чтобы тебе было лучше и спокойнее.

Я ты купи там то, что я не нашла в Минске. Хорошо?

И еще прошу тебя, когда будет возможность, звони мне чаще отовсюду, где будешь.

Минск. (Без даты. — *Т. К.*)

Напиши, сообщи хоть с какой-нибудь маленькой определенностью, когда приедешь. Никогда так страшно мне не тосковалось, как теперь. И если бы знать, верить тебе, что действительно здоров.

Совсем я не умею без тебя жить. И спать разучилась совсем. Каждую ночь от тебя приходят поезда, и я слышу их очень близко, а ты не едешь.

И так всю жизнь я жду тебя с дорог. Аль, поспеши, мой хлопчик.

Обнимаю тебя, родного.

Будь здоров и весел. Женя.

Квартира еще не совсем готова, но на нее уже много претендентов. Хозяин пока не меняет своего решения, но особой радости этот дом не представляет. Там очень сыро, а вода, свет и канализация предвидятся только в далеком будущем.

Весна в Минске неровная, напряженная и холодная.

Все иначе с тобой.

Читаю много и немного вспоминаю английский.

Сообщи скоренько о себе.

27.03.1946. Москва.

Наконец-то вчера от тебя весточка. Я уже передумала все самое страшное, и вот только после твоих родных слов поняла, что в мире весна, за нашими окнами настоящее весеннее солнце. (...)

Получила пропуск в Ленинку и выполняю твое задание. Море стихов — я утонула в них, особенно в «Узвышшы». Есть, не в обиду Вам будет сказано, прекрасные стихи. Читая, я все их вспомнила. Они и тогда мне нравились. Теперь осталось только «Польмя», а уже три полных тетради.

И буду собираться в Минск. По моим расчетам, это будет не раньше 5 апреля, потому что с 1 апреля начнут выдавать отпускные деньги, и я получу рублей пятьсот, а иначе я не смогу выехать. (...)

Сейчас в Москве Лыньков с Глебкой, Купалиха и Пимен. Лыньков с Петрусем везли сюда девять кандидатур на сталинские премии. Девять! — не постигаю, как они обрели столько. В дороге по зрелом размышлении они вычеркнули шестерых. Так что представлены трое — старик, Кондрат и Максим.

Я отдала Лынькову уютги и плитки — пусть сам везет, мне будет легче.

Он мне сказал, что один коттедж готов, но пока для жилья не пригоден — ни света, ни воды. И кроме того, на собрании постановили распределить там по комнате тем, у кого совсем нет жилья. Значит, опять мы ничего не получим. Он говорит, что скоро будут отремонтированы квартиры в городе. А вообще, он считает, что хорошо бы тебе подъехать сейчас в Минск.

Не знаю, как ты на все это смотришь, — этот дом, я чувствую, тебя не очень привлекает, но еще одну зиму жить так, как до сих пор, — очень трудно.

Видишь, как много накопилось всего, что необходимо тебе сказать. И еще очень много осталось несказанным, но это до встречи — боюсь, что письмо будет слишком тяжелым. Нужно видеть тебя, родной, очень нужно. Здоров ли ты действительно, как пишешь? Устал, наверно? Торопись, Аль, домой — пора уже, мой хлопчик. Пиши хоть изредка, а то я не умею быть спокойной без твоего слова.

Береги себя, слышишь.

Я тебя очень слушаю и каждый раз с удивлением убеждаюсь, что ты опять был прав.

Будь здоров, Аль.

Обнимаю тебя.

Женя.

*Подготовила к публикации и перевела письма,
отмеченные звездочкой, с белорусского
Татьяна Куварина.*